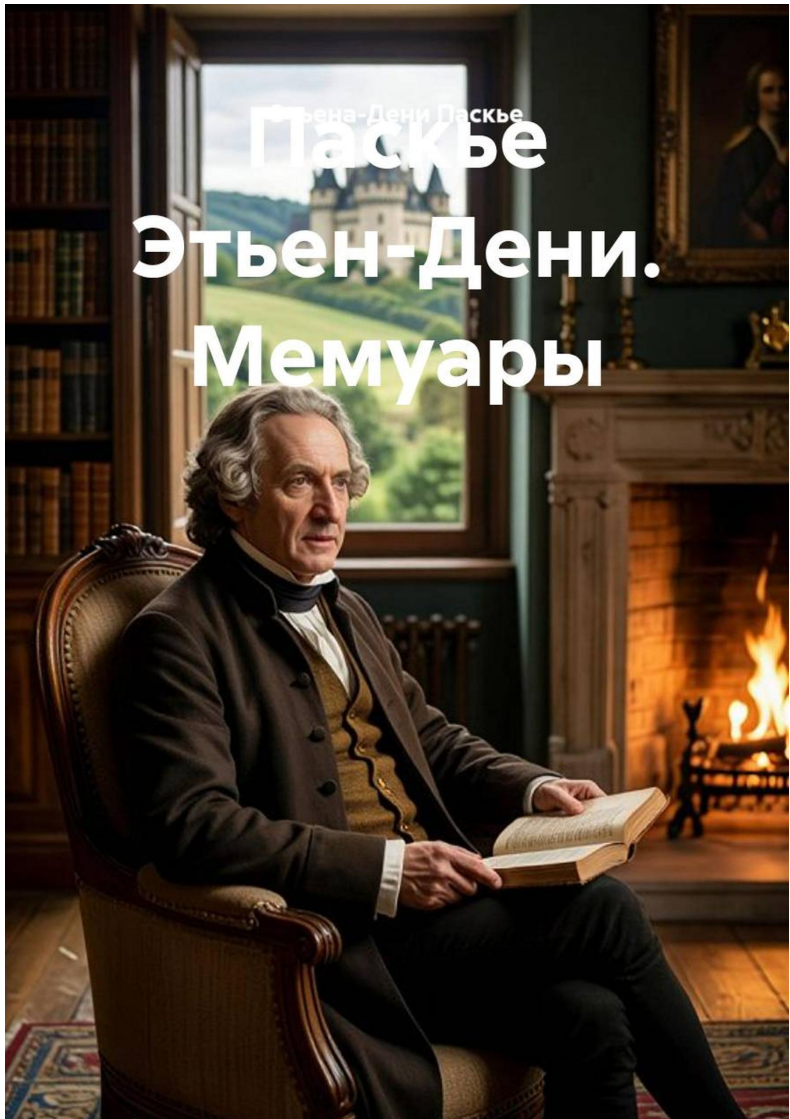


Этьен-Дени Паскье

Паскье

Этьен-Дени.

Мемуары



Этьена-Дени Паскье Паскье Этьен-Дени. Мемуары

<https://litres.ru/74616308>

SelfPub; 2026

Аннотация

Первая глава мемуаров Этьена-Дени Паскье, канцлера Франции, переносит читателя в последние десятилетия Старого порядка. Автор, родившийся в 1767 году, воссоздаёт атмосферу своего детства: домашнее воспитание в духе Руссо, годы, проведённые в коллеже Жюйи у ораторианцев, каникулы в родовых замках Кулан и Тюбёф. Перед нами проходят яркие портреты людей эпохи: дед-магистрат, соученик Вольтера; мать, увлечённая янсенизмом и лично знакомая с Жан-Жаком Руссо; епископ Гримальди; провинциальное общество Ле-Мана. Паскье подробно описывает мир судейского сословия, его нравы, интеллектуальные интересы и повседневную жизнь. Отдельное место занимает история конфликта его деда с Вольтером вокруг дел Лалли и Лабарра, а также публикуемое письмо Вольтера, в котором философ фактически признаёт свою неправоту.

Эта глава — не только ценнейший исторический документ, но и увлекательное повествование о воспитании, семье и интеллектуальной атмосфере Франции накануне Революции.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	50
Глава 3	111
Глава 4	155
Глава 5	191

Этьена-Дени Паскье Паскье Этьен- Дени. Мемуары

Глава 1

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Детство канцлера Паскье. — Его первоначальное воспитание. — Отношения его матери с Ж.-Ж. Руссо, а его деда — с Вольтером. — Его поступление в коллеж Жюйи, содержащийся ораторианцами. — Его соученики: Моле, д'Этамп, Мези, Арно, автор «Мария в Минтурнах». — Его каникулы в замке Кулан, близ Ле-Мана, и в замке Тюбёф у г-жи Берье, матери г-жи де Ламуаньон. — Монсеньор Гримальди, епископ Ле-Манский. — Г-жа де Лашатр. — Роль деда канцлера в деле г-на де Лалли и в процессе г-на де Лабарра. — Ответ на диатрибы Вольтера и Лагарпа. — Письмо с извинениями (неопубликованное) Вольтера. — Воспитание молодого человека при Старом порядке. — Мир судейского сословия. — Любовь к наукам и словесности у членов Парижского парламента.

Старый порядок[1] — тот, что предшествовал Революции 1793 года[2], — не был мне вовсе незнаком; до его падения я уже был принят в свете.

Моя память, всегда достаточно верная, может предоставить мне подробности, способные, вероятно, заинтересовать тех, кто хотел бы знать нравы, обычаи, привычки времени, от которого они в действительности отделены лишь немногим более чем полувеком и которое, однако, ввиду невероятного множества событий, происшедших с тех пор, столь же неизвестно нынешнему поколению, как если бы прошло двести или триста лет.

Это верно даже для времени Империи, о чьих нравах и идеях забыли; из него удержали лишь битвы, и то неполно. Реставрация, столь близкая, из которой вышел конституционный режим, оставила лишь память об июльских ордонаментах[3] и трёх днях, приведших к её падению; следует ли тогда удивляться, что последние годы правления Людовика XV и всё царствование Людовика XVI столь совершенно неизвестны?

Я родился в 1767 году в положении, которое, казалось, предвещало мирное существование и большое состояние, так и не доставшееся мне; забота, проявлявшаяся обо мне в раннем детстве, носила отпечаток увлечения методами Рус-

со[4]; я много от этого страдал. Под предлогом закаливания, в течение двух суровых зим (я был на четвёртом и пятом году) меня водили в Тюильри очень легко одетым; там я должен был, уверяли меня, согреться, двигаясь; мне велели бегать, холод отнимал у меня силы; в результате я остался одним из самых зябких существ, каких можно встретить.

Увлечение, какое страстное красноречие женеvского гражданина[5] вызывало тогда в умах, особенно в умах женщин, было сильно и, без сомнения, извинительно. Я узнал впоследствии, что моя мать не могла противиться весьма естественному желанию увидеть несколько ближе этого Жан-Жака, столь знаменитого и столь необыкновенного. Чтобы добраться до него, она воспользовалась предлогом, вообще тогда употреблявшимся, — принести ему музыки для переписывания. Мать моя была наделена острым умом, и прелесть её беседы была столь велика, что мнимый философ захотел увидеть её вновь. Изгнание Парламента[6], последовавшее в 1771 году, положило конец этим отношениям.

Мне сделали инокуляцию[7] в эпоху, когда на неё решались лишь немногие. Английский врач по имени Хорлох[8], приехавший в Париж раньше братьев Саттон[9], был приглашён к одному из братьев моей матери, поражённому оспой; его уже отчаивались спасти; врач поставил его на ноги. Мать моя, находившаяся в положении, была поражена этой жесто-

кой болезнью; её врач, знаменитый Бувар[10], объявил, что надлежит примириться с потерей матери или ребёнка. Хорлох, призванный вновь, спас и ту и другого. После такого успеха он предложил провести инокуляцию и мне. Отец согласился за меня, но не мог получить для моей сестры согласия моей матери. Вскоре после того сестра моя заболела натуральной оспой, была очень больна и осталась обезображена.

Это сопротивление было бы трудно объяснить, если не знать, что в ту эпоху среди лиц высокой набожности — а мать моя принадлежала к их числу — многие говорили, что искушать Бога — значит наносить человеческому существу болезнь, которая, быть может, не пришла бы к нему естественным путём. Значительная часть духовенства разделяла это мнение.

Моё воспитание должно было носить двойной отпечаток — старых идей и обычаев уходящего мира, а также философского, нерелигиозного и по существу новаторского духа, развившегося за пятьдесят лет. Последний имел лишь посредственный успех в моей семье, где глубоко укоренились противоположные устремления старой магистратуры, верным представителем которой был мой дед, умерший в 1783 году.

Будучи соучеником Вольтера[11], с которым он прошёл риторику у знаменитейшего из профессоров великого Коллежа иезуитов, отца Поре[12], мой дед отнюдь не поддавался увлечениям вольтерьянской и энциклопедической школы, влияние которой разбилось о твёрдость его разума, о его прочно установленные принципы в делах религии. Его искренняя набожность не знала никакой чрезмерности: он избегал обсуждать эти предметы и ограничивался тем, что свидетельствовал о своей вере неукоснительным исполнением обрядов. Я помню одно обстоятельство, которое с тех пор не раз приходило мне на ум: ему было около восьмидесяти лет, мне — двенадцать; я приехал провести каникулы с ним в замке Кулан. В ту эпоху он следил за моим воспитанием с исключительным старанием: мы каждое воскресенье присутствовали на мессе, которую служили в часовне замка. Однажды в воскресенье тот, кто должен был прислуживать, не явился; я заметил, как дед, бросив на меня многозначительный взгляд, покинул своё место и опустился на колени, заменяя отсутствующего отвечающего[13]. К счастью, вскоре тот пришёл и избавил его от этой утомительной обязанности[14].

Моё первоначальное образование в области знаний было не очень удачным. Самым тягостным для меня в его начале оказалось особое свойство моей памяти: хотя она способна многое охватывать в одних областях и весьма счастливо слу-

жила мне на поприще, которое я прошёл, заучивание слово в слово ей всегда не давалось. Отвращение к этому началось рано: мать моя, обладавшая в высшей степени способностью, которой я был лишён, не могла понять, что я столь ею обделён; поэтому с самого моего раннего детства она взялась навязывать мне задачи, которых мне было невозможно выполнить и которые доставили мне, вместе с множеством выговоров, многочисленные наказания.

Воспитание детей, которое стало столь ласковым, было тогда у большинства родителей весьма бранчливым; оно имело также, как и ныне, тот недостаток, что недостаточно изучало природные способности, требовало от всех без разбору одного и того же, одних и тех же усилий. Часто случается, что, требуя от детей работ, к которым они неспособны, пренебрегают задатками, из которых можно было бы извлечь большую пользу.

Когда мне минуло семь лет, меня отдали в руки домашнего наставника; у меня их было двое последовательно: первый впал, вместе с моей матерью, в заблуждение относительно объёма моей памяти; он был образован, чрезвычайно усерден в заботах обо мне, но при этом суров и язвителен; он хотел бы получить от меня больше, чем позволяли моё хрупкое здоровье и мера внимания, какой я был способен; его заменил человек, быть может, менее всего на него похожий.

Опыт не был удачнее; оба не оправдали доверия моих родителей; но нельзя не признать, что домашнее воспитание редко удаётся; смены наставников, которым подвергается воспитанник, — одно из главных его неудобств.

Добавлю, что, за немногими исключениями, такое воспитание, по моему мнению, полно опасностей; оно чаще всего влечёт за собой самые прискорбные последствия для здоровья или характера. В отношении здоровья недостаток движения вредит развитию физических сил, порождает скуку, столь трудно переносимую во всяком возрасте.

Мне было одиннадцать лет и четыре месяца, когда меня отдали в Жюйи; в ту эпоху учение шло быстро — что даёт основание полагать, что оно было поверхностным. Коллеж в Жюйи[15] содержался ораторианцами; это было наиболее прославленное из их заведений.

Отец Пти[16], бывший тогда настоятелем, пользовался вполне заслуженным уважением; у него было несколько весьма искусных сотрудников, среди них отец Мандар[17], чья репутация как проповедника была достаточно прочна, чтобы его включили в список королевских проповедников. Ему было поручено готовить учеников к первому причастию; ему я обязан тем, что совершил этот великий акт с глубочайшим согласием сердца и ума. Впечатление этого дня

было столь же светлым, сколь торжественным, и память о нём часто возвращалась ко мне с большой радостью.

Известно, что ораторианцы[18] были ближе к янсенизму[19], чем к молинизму. Это обстоятельство и решило дело: мать моя выбрала коллеж, руководимый ораторианцами; её чрезвычайная набожность увлекла её в янсенизм, доктрину и практики которого она соблюдала. Наиболее видные из этой партии по уму и ловкости сплотились вокруг неё; из их внушений она черпала не только правила своего поведения, но и те обязанности, какие хотела бы внушить своим детям. Отец Мандар сделал из меня не доктора, но неофита, полного веры и благих намерений.

Каникулы возвращали меня на два месяца в семью. Мать расспросила меня о моей вере и обнаружила, что я в глубоком невежестве; чтобы вывести меня из этого состояния, она вручила мне неаполитанский катехизис[20] в трёх или четырёх томах, который я должен был одолеть за каникулы. Этот катехизис был страстно принят всеми, кто имел вес в янсенизме. Изучение, к которому я был принуждён, было для меня убийственно скучно; оно внесло в мой ум великое смятение, которое могли унять лишь спокойствие и размеренность коллежной жизни и, главное, кроткая простота наставлений отцов.

Трудно не прийти к мысли, что те, кто утверждает, будто общественное воспитание ныне столь же религиозно, как когда-либо, либо не были свидетелями той эпохи, с которой они сравнивают, либо не сохранили о ней верного воспоминания. Религиозные конгрегации[21] были в этом отношении более внимательны, чем светские коллежи, но разница была невелика; даже там, где господствовали философские идеи, внешние действия были слишком строго обязательны, чтобы ими можно было пренебречь.

Моими соучениками были: Моле[22], д'Этамп[23], Ме-зи[24] (этот оставался, пока жил, моим самым близким другом), Арно[25], член Французской академии, — ум его тогда был мало развит, он был угрюм и печален. Никогда я не удивлялся больше, чем тогда, когда через несколько лет, после представления «Мария в Минтурнах»[26], узнал в авторе моего старого товарища. Известно, какое поприще он с тех пор прошёл.

Наши каникулы начинались в тот же срок, что и каникулы Парламента. Дед мой увозил меня с собой в Кулан или в Тюбёф, к своей старейшей приятельнице, госпоже Берье[27].

Велика была радость старого советника большой палаты, который возвращался домой после долгих месяцев трудовой жизни. Он прощался со своими папками с делами, как

школьник прощается со словарями. Эта мирная и счастливая жизнь после трудов, которые он доблестно нёс, возвращала человека к кротким радостям семьи; деревенская жизнь и её здоровые радости укрепляли его старость, возвращая ему волнения юных лет.

Поместье Кулан[28], издавна принадлежавшее моей семье, возведённое для неё в баронство, расположено в трёх лье от Ле-Мана[29], в провинции, на которую простиралась юрисдикция Парижского парламента, и это обстоятельство немало способствовало уважению, каким пользовались её владельцы. Общественное положение парламентских советников, когда их владения были далеко от Парижа, особенно далеко от Версаля, было весьма заметным и обеспечивало им много знаков внимания со стороны самой высокой знати.

Передача собственности, раздел наследств порождали многочисленные процессы. Часто прибегали к их влиянию; члены многочисленных низших судебных инстанций весьма спешили принести им свои почести; всё способствовало тому, чтобы обеспечить им, когда они оказывались достойны этого, самое почётное и самое завидное существование.

Мои предки сделали всё, чтобы его заслужить; поэтому у них были в городе Ле-Мане, в окрестностях их резиденции, многочисленные друзья, избранные среди лучшего, что

было в провинции. Ле-Ман, далеко не будучи значительным городом, предлагал однако богатые возможности для светской жизни: в дворянстве, в магистратуре, в высшей буржуазии и среди землевладельцев были люди достойные, образованные, выдающиеся, женщины умные, приятные, любящие удовольствие и внушавшие этот вкус всем, кто их окружал. Общество непринуждённое, довольно легкомысленное, находившее — и это рисует нравы той эпохи — в высшем духовенстве больше, чем просто снисходительность.

Епископство Ле-Манское[30] было в числе наиболее завидных. Доход его был значителен, епископский дворец очень красив; при нём был прелестный загородный дом в одном лье от города. Этот престол издавна занимали прелаты знатного происхождения, серьёзные, строго соблюдавшие обязанности своего святого служения. Когда епископская кафедра освободилась в последние годы царствования Людовика XV, её отдали аббату Гримальди[31], молодому церковному служителю из знатного рода, весьма приятной наружности, ум которого был столь же изящен, как и манеры; в общении самом лёгком, он был, сверх того, весьма склонен привязываться к тем, кого удостоивал чести считать своими друзьями, и доказал это выбором генеральных викариев[32], какими счёл нужным себя окружить. Это были, как правило, младшие сыновья семей, мало отмеченные фортуною, которые думали принять духовный сан лишь для того,

чтобы проложить себе путь к лучшему положению; сойдясь с ними в годы, проведённые в семинарии Сен-Сюльпис[33], он обещал им призвать их к себе, как только станет епископом. Приняв это обязательство, он не поколебался его исполнить, и в Ле-Ман вместе с ним прибыла целая труппа генеральных викариев, которые вскоре поставили епископство на совсем иной лад, чем тот, какой видели до тех пор.

Они стали бывать во всех кругах и особенно стремились завязать знакомства там, где можно было обрести наиболее приятные связи. Епископ относился к этой суете если не с одобрением, то с большой снисходительностью. В своей епархии пастырские объезды его были редки, а пребывание в замках, где он находил общество по своему вкусу, — долгим.

Замок Кулан был одним из тех, где он охотно останавливался. Его посещения начались в эпоху изгнания Парламента г-ном де Мопу[34]. Ум моей матери чрезвычайно ему нравился, и проповеди, которыми она его не щадила, всегда принимались им с величайшей любезностью.

Монсеньор Гримальди старался украсить свой загородный дом; он разбил там пейзажный парк[35], первый, без сомнения, какой видели в провинции, и сделал из него прелестную резиденцию. Он оставил Ле-Манскую кафедру, чтобы перейти на более высокую — в Нуайон[36], — когда Ре-

волюция бросила его в Англию, где он, полагаю, окончил свои дни; там он показал себя не только строгим в соблюдении правил, но и суровым, и весьма нетерпимым по отношению к епископам, своим собратьям, и к священникам, которые сочли в 1800 году своим долгом не отказывать в содействии правительству Франции.

В Ле-Мане гарнизоном стоял драгунский полк Месье[37], которым командовал г-н де Лашатр[38]; офицеры, бывшие под его началом, принадлежали к лучшим семьям, были из самых выдающихся, самых блестящих; весьма покровительствуемые при Дворе, они все были весьма элегантны.

Г-н де Лашатр владел на небольшом расстоянии от Ле-Мана довольно красивым поместьем, и его замок Маликорн[39], где г-жа де Лашатр несколько раз принимала гостей, был для всей провинции местом встречи высшего света; можно добавить, говоря как Корнель, — «обителью галантности»[40].

Г-жа де Лашатр не отличалась особой строгостью; весьма модная, она искала всё, что могло немного оживить жизнь в замке, и старалась терпеливо переносить разлуку с человеком, который свидетельствовал ей самую страстную преданность. Не следует удивляться, если вскоре ссоры, дуэли, скандалы разразились в этом краю, некогда столь мирном, и

если некоторые кончились трагически.

Мы заканчивали каникулы в Тюбёфе[41] — большом и красивом замке, построенном из кирпича, окружённом широкими рвами, посреди обширного парка с вековыми елями. Там жили просто, без всякой изящности, уже весьма распространённой. Обстановка была некогда великолепна, но вышла из моды. Я ещё помню мебель для гостиной — кресла и обивку из жёлтого атласа, привезённого из Китая сорок лет назад, вышитого шёлковыми узелками при помощи челнока г-жой Берье. По старому обычаю, прислуги было много; два или три старых камердинера всегда находились в первой комнате большой анфилады, они работали над вышивкой.

Г-жа Берье, вдова г-на Берье[42], последовательно занимавшего большие должности (он был даже министром Людовика XV), была матерью г-жи де Ламуаньон[43]; она обладала значительным состоянием; её крайне деликатное здоровье вынуждало её к строжайшему режиму; при роскошном столе она жила самым скромным образом. В ней едва теплилась жизнь; однако, поддерживаемая необычайной нравственной энергией, она прожила до первых лет века. Одарённая умом тонким и верным, проведя жизнь среди людей, причастных к большим делам, следовательно, много видев, многому научившись, она обладала в высшей степени талантом вести салон, отводить каждому подобающее место и самой неиз-

менно занимать то, которое ей принадлежало.

Это общество, без сомнения, серьёзное, не исключало умных и изысканных развлечений. Там ставили комедии на сцене, устроенной в оранжерее. Помню, что в возрасте одиннадцати или двенадцати лет я участвовал в одной из этих пьес, которых не могла испугать самая щепетильная строгость, ибо она была произведением одного из членов многочисленного духовенства, относящегося к юрисдикции сеньории Тюбёф.

Земля Тюбёф была одной из тех во Франции, где сеньор назначал священников на большее число приходов — одиннадцать или двенадцать, полагаю, — из которых многие были богато наделены. Осуществление столь обширного права влекло за собой большую ответственность, которую г-жа Берье никогда от себя не скрывала; поэтому, чтобы облегчить её, она приняла все подобающие предосторожности, учредила при себе нечто вроде совета, который просвещал её в выборе, причём в этом она, впрочем, прекрасно ладила со своим епископом.

Многочисленное семейство г-на де Ламуаньона (у него было трое сыновей и четыре дочери, из которых две в эпоху, о которой я говорю, уже были замужем) приезжало в сентябре на несколько дней в Тюбёф, затем возвращалось в Ба-

виль[44], где г-н де Ламуаньон разорился.

Из четырёх дочерей г-на де Ламуаньона третья, мадемуазель Луиза, была доверена своей бабушке, г-же Берье; она была прелестна, и я до сих пор помню, несмотря на шестьдесят шесть лет, прошедших с тех пор, это кроткое и чисто-сердечное лицо, возле которого я проводил большую часть вечеров, сидя рядом с большим клавесином, на котором она повторяла уроки Бальбатра[45]: тогда это был самый известный учитель.

Мадемуазель Луиза де Ламуаньон обязана своим прекрасным браком, который она вскоре заключила, тому доверию, какое внушало воспитание, полученное ею под крылом бабушки. Имя Ламуаньон, без сомнения, естественно сочеталось с именем Моле[46]; однако строгость нравов особняка Моле[47] и замка Шамплатрё с трудом приняла бы молодую особу, воспитанную в шумной суете Бавиля.

Я потерял деда зимой 1783 года; никакая явная болезнь его не поразила; в день его смерти его приятельница г-жа Берье покинула его в час дня, после долгого разговора без видимой усталости; в два часа он угас. Кончина его была лёгкой; небо приберегло её для него в возмещение трудов и волнений его долгого поприща. Парламентские борьбы в последние годы царствования Людовика XV были весьма тя-

гостны; они завершились упразднением Парламента при министерстве г-на де Мопу (канцлера) и изгнанием всех его членов.

Среди дел, в которых дед мой играл важную роль, два особенно были ему тягостны: дело г-на де Лалли[48], по которому он был докладчиком, и дело Лабарра[49], касавшееся святотатства, совершённого в Абвиле. Как бы ни были яростны критика и нападки, вызванные двумя вынесенными приговорами, он положил себе за правило не отвечать на них, уважая чувства, внушавшие усилия сына г-на де Лалли добиться кассации приговора, которым был осуждён его отец. Лишь однажды, выведенный из терпения диатрибами г-на де Вольтера, он написал ему, чтобы пожаловаться на несправедливость его приёмов. Я нашёл в его бумагах после его смерти ответ Вольтера; он и поныне в моих руках.

В 1801 году те же клеветы были воспроизведены в «Переписке» Лагарпа[50], опубликованной «Journal des Débats»[51]: я счёл своим долгом ответить на них следующим образом, опубликовав письмо Вольтера:

[Далее — письмо Паскье в редакцию:]

«Так как вы сочли уместным, милостивый государь, напечатать в вашей газете статью из „Переписки“ г-на де Лагарпа,

касающуюся смерти г-на де Вольтера, то, без сомнения, вы не откажетесь поместить там же и письмо самого Вольтера; оно послужит ответом на эту статью в том, что касается моего деда. Особые соображения, связанные с долгом его звания, и более всего свидетельство его совести, которому он был обязан тем мужественным презрением, какое всегда питал к клевете, побудили его не предавать это письмо никакой огласке даже после смерти г-на де Вольтера. Он не считал допустимым, как то делали впоследствии столь многие, — не скажу, злоупотреблять, но пользоваться тем, что было ему написано в тишине кабинета и в доверии частной переписки. Без сомнения, он хотел, для собственного удовлетворения, вырвать у г-на де Вольтера признание, в каком, он был уверен, тот не мог отказать силе и очевидности доводов, какие он представил бы ему; но он на этом и остановился и счёл себя достаточно отомщённым. Г-ну де Вольтеру должно было стоить немалого написать это письмо и доверить человеку, имевшему основания на него жаловаться, тайну своих непоследовательностей и своей легкости в вещах столь серьёзных и столь высокой важности. Г-н де Вольтер не имел случая раскаяться в том, что положился на великодушные характера, в истинном уважении и даже в почтении к которому он не мог ему отказать.

Не знаю, что могло побудить г-на де Лагарпа включить опрометчивые утверждения в переписку, которую он назы-

вает литературной. Неделикатность, с какой он позволяет себе воскрешать воспоминания, какие столь долгие годы и столько недавних бедствий могли изгладить из памяти, вновь открывать раны, какие можно было считать зажившими, — одна эта неделикатность могла побудить меня наконец отразить неосторожное нападение, которого я менее всего мог ожидать.

Я, однако, медлил, пока это обвинение оставалось погребённым среди многочисленных страниц четырёх толстых томов; но ныне, когда его уединённое положение в фельетоне распространённой газеты должно было неизбежно сделать его более известным и заметным, я изменил бы тому, чем обязан памяти деда, которого имею столько оснований любить и чтить, если бы не воспользовался средствами, какие в моих руках, чтобы отразить клевету, преследующую его более чем через двадцать лет после его смерти. Это священный долг, который, полагаю, я исполняю, и если кто-либо мог бы усомниться в законности моих побуждений, я не желал бы иного судьи, кроме самого г-на де Лалли-Толлендаля[52], того мужественного сына, который сумел в столь несчастном деле сделать столько для памяти своего отца, был за это всеми хвалим и к уважению которого более, чем ко всему иному, я счёл должным — с тех пор как появилась эта переписка, более трёх месяцев назад, — хранить молчание, какое наконец прерываю с самым тягостным сожалением».

ПИСЬМО Г-НА ДЕ ВОЛЬТЕРА

«Ферне[53], 20 сентября 1776.

Милостивый государь,

Я получил письмо, которым вы меня почтили; мои восьмидесятилетние глаза читают его с большим трудом, сердце моё очень тронуто, а мой старый разум заставляет меня понять, что мне не следовало бы никогда писать.

Ясно вижу, что корыстолюбие некоторых книгопродавцев приписало мне несколько сочинений, которые не мои, и исказило те, автором которых я имел несчастье быть. Я видел четыре издания одного и того же сочинения, о котором вы благоволили мне говорить, и эти четыре издания совершенно различны.

Если бы я мог разумно надеяться или бояться прожить ещё несколько лет, я сам сделал бы исправное издание, которое признал бы, и, конечно, вы не были бы им недовольны.

Моё семейство, милостивый государь, имевшее честь часто бывать в вашем обществе, рассказывало мне о ваших личных заслугах, вашем красноречии и подлинной доброте

вашего сердца; я так доверяю этой доброте, что чистосердечно признаюсь вам в том, как произошли вещи, о которых вы мне говорите.

Сын храброго, несчастного, неосмотрительного офицера, о котором вы мне говорите, в самом справедливом, или, по крайней мере, самом простительном отчаянии написал записки, какими воспользовались, и вы, без сомнения, извините сына, желающего оправдать своего отца.

Раз вы, милостивый государь, поощряете меня к признаниям, в которых, я уверен, человек вашего звания и вашего возраста не злоупотребит, я скажу вам ещё, что весьма добродетельный друг одного юного несчастливца, который стал бы одним из лучших офицеров Франции, избегнув ужасной катастрофы этого юного друга, столь же неосторожного, сколь добродетельного, провёл два целых года у меня между Францией и Женевой.

Этот молодой человек, подвергшийся столь же жестокому обращению, как и его друг, стал одним из лучших инженеров Европы. Я имел счастье устроить его при великом Короле[54], который знает и вознаграждает его заслуги. Я прошу вас как милости простить и его. Поистине, в том возрасте, в каком находимся мы с вами, милостивый государь, нам остаётся лишь проводить последние дни в прощении.

Когда, стоя с края могилы, оглядываешься на прожитое, содрогаешься от стольких ужасных бедствий. Блаженны те, кому можно сказать вслед за Горацием:

Senior ac melior fit accidente senecta[55].

Желаю вам, милостивый государь, здоровья более крепкого, чем моё, долгого пользования тем чрезвычайным уважением, каким вы пользуетесь, отдыха после трудов и всей той снисходительности, какая так необходима людям, слабость и нищету которых вы знаете.

Имею честь быть с большим уважением, истинным почтением и благоговением, милостивый государь...»

[Затем следует комментарий Паскье:]

Нет нужды, без сомнения, обращать ваше внимание, милостивый государь, как и внимание тех, кто прочтёт это письмо г-на де Вольтера, на то, что это не одно из тех отречений, какие он так часто позволял себе в периодических изданиях относительно сочинений, которым не смел поставить своё имя. Здесь, напротив, речь идёт о деле, в котором он с удовольствием играл блестящую роль, где, далеко не имея чего-либо опасаться, он видел лишь приобретаемую славу; здесь, при простом, но грозном вызове человека, вправе тре-

будущего истины, он смущается, совесть вырывает у него тайное отречение; здесь, когда он не может ответить на доводы, какие ему представлены, на упрёки, какие ему адресованы, и притом без шума, без огласки, — тут он решается возложить на другого сочинение, которым, быть может, ещё за несколько мгновений перед тем гордился, просить для другого прощения, какого, без сомнения, не смел надеяться получить для себя; так, повторяю, когда никакая иная сила, кроме истины и его совести, его к тому не принуждает, он расточает свидетельства уважения, почтения, благоговения тому, кого столь жестоко терзал, и честности которого не боится вверить столь сильное свидетельство против себя.

Пусть же теперь судят между Вольтером и моим дедом.

Окончив учение, я изучал право без большой прилежности. Как все молодые люди той эпохи, я считал верховую езду, фехтование, танцы лучшим способом распорядиться своим временем. Мы редко посещали лекции г-на Сареста[56] — Кристиан де Ламуаньон, де Монбретон и я. Мы почти ничего от этого не теряли, ибо первое сочинение, какое он вложил нам в руки и которое комментировал перед нами, было «Общественный договор»[57]. Этот факт хорошо рисует дух, царивший в ту эпоху.

Обычаи сильно изменились со дней, когда складывались

искусные законоведы, которыми французская адвокатура и магистратура столь гордились.

Как же случилось, что из столь неполного преподавания вышли люди, которые на всех поприщах, особенно в магистратуре, где основательное знание столь необходимо, с блеском занимали важные посты в особенно трудные времена? По причине весьма простой: деловая жизнь начиналась много раньше, чем ныне, на поприще вступали моложе; в пятнадцать лет вступали в армию, в четырнадцать — во флот; офицеры флота слыли самыми образованными в Европе. Позже, правда, вступали в инженерные войска; в двадцать лет офицеры были столь же искусны в теории, как и в практике; место, какое они заняли в 1792 году во французской армии, доказывает справедливость этого утверждения.

В магистратуру вступали в двадцать лет, право решающего голоса имели в двадцать пять.

То, что практиковалось в Парламентах, было в обычае и в низших судебных инстанциях, а известно, сколь многочисленны они были. То же было и в Счётной палате[58], в Палатах косвенных сборов[59] и т. д. В собственно администрации, то есть в бюро всех финансовых ведомств, никаких правил относительно возраста не предписывалось, и возраст этот, как правило, был весьма ранним. Нельзя было ста-

вить молодым людям, поступавшим на различные поприща, столь же строгие условия, как тем, кто ныне поступает после курсов, часто доводящих их до двадцати двух или двадцати трёх лет. Было ли это злом или благом? Для военной службы на суше и на море, я сказал, французские офицеры в отношении науки превосходили офицеров других наций. Однако они не знали и десятой части того, что знают сегодня те, кто выходит из подготовительных школ.

Было бы весьма основательно сказать, что сам Вобан[60] не был бы в состоянии выдержать экзамен, какой должен сдать для допуска ученик, стремящийся в Политехническую школу[61].

Всегда говорили, что есть специальные технические знания, какие можно приобрести на школьной скамье. Но это не всё; нужны и другие нравственные и физические качества, приобретаемые в ином месте. Есть два воспитания, одно следует за другим. Первое — плод классических или специальных занятий, но после него приходит то, которое даёт среда, в которой молодой человек живёт по выходе из школы, примеры, впечатления, традиции, какие он воспринимает. Ныне это второе воспитание утратило большую часть своей ценности и силы. Молодой человек, выходящий в свет лишь в двадцать два или двадцать три года, полагает, что ему больше нечему учиться; чаще всего он питает абсолютную уве-

ренность в себе и глубокое презрение ко всему, что не разделяет идей и мнений, какие он уже себе составил.

Иначе было при предшествующем режиме.

Молодёжь, которой свет открывался так рано, входила в него лишь с робостью, не могла скрыть от себя своей недостаточности. Добавьте, что свет, среди которого надлежало проложить себе путь, был умён, изыскан, прочно покоился на неизменной иерархии, освящённой временем, в которой рождались, в которой должны были жить, в которой должны были умереть.

Я беру в пример тот свет, в который был допущен в возрасте семнадцати лет, — свет магистратуры, в котором Парижский парламент занимал столь большое место. Несмотря на влияние, какое нравы века уже там оказали, привычки сохраняли там известную серьёзность, сочетавшуюся, во многих семьях, с довольно изысканной элегантноcтью жизни, во всех — с весьма живым вкусом к умственным удовольствиям, а в некоторых — с весьма обширными познаниями в самых высоких науках.

Так, Парламент заключал в своём лоне председателя Саррона[62], всё свободное время которого было посвящено — и с большим успехом — астрономическим исследованиям,

и г-на Диони дю Сежура[63], шедшего весьма близко за д'А-
ламбером в высоких областях геометрии. Даже поэзия име-
ла там своих адептов; г-н Ферран[64] сочинял трагедии, а г-
н Фавье[65] позволял себе ставить комические оперы, кото-
рые, правда, шли не под его именем. «Поль и Виргиния»[66]
была одним из его произведений.

Таким образом, для меня открылось более тридцати са-
лонов, где не было недостатка в приятных и основательных
беседах; они были тем более привлекательны, что происхо-
дили обычно между людьми, привыкшими встречаться, об-
мениваться мыслями. Очень большие собрания были редки;
обычно они не превышали тридцати или сорока человек.

Как только я был туда допущен, я почувствовал своё неве-
жество и испытал живое желание избавиться от него. Тогда
во мне проявился тот вкус к последовательному и внима-
тельному чтению, какой с тех пор меня никогда не покидал.

Я посещал курсы Лицея[67], только что открывшегося.
Профессорами были г-н де Лагарп[68], г-н де Фуркруа[69],
г-н Гара[70], г-н де Парсьё[71] — почти все люди, уже соста-
вившие себе репутацию в науках или словесности. Избран-
ное парижское общество теснилось, чтобы слушать их лек-
ции; оно извлекало из них, сверх запаса личного образова-
ния, темы для бесед. Ныне трудно представить себе это ум-

ственное движение.

До 1788 года политика занимала там очень малое место, но новые сочинения, театральные пьесы, книги самые серьёзные, как и самые лёгкие, постоянно там обозревались. Они были предметом суждений, споров, в которых изощрённые умы проявляли все свои способности. Мне кажется, я всё ещё переживаю тот день, когда появилось «Путешествие молодого Анахарсиса»[72]; оно одно питало беседы целую зиму, и трудно было бы, в самом деле, дать беседам более приятную пищу.

Что до меня, второе воспитание, которое даёт свет, о могуществе которого я говорил, началось с той минуты, как я вернулся в отчий дом. Не проходило дня, чтобы во время или после обеда между моим отцом и кем-либо из его друзей или коллег не начинался разговор о делах, какие утром волновали Дворец[73] — в заседаниях или в стенах большой палаты. В этих беседах обсуждались доводы за и против, оценивались достоинства адвокатов, докладчиков и мнений, высказанных по делам.

Впечатление от этих наставлений было живым для ума, не лишённого способности чувствовать их ценность и питавшего живое желание однажды быть в состоянии в них участвовать.

Вступив в Парламент, я, ещё до обретения права решающего голоса, находил весьма поучительным в течение пяти лет присутствовать на всех обсуждениях: это послушничество завершало то второе воспитание, значение которого я стараюсь показать.

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

[1] **Старый порядок (Ancien Régime).** Общественно-политическая система Франции, существовавшая до Великой французской революции. Характеризовалась абсолютной монархией, сословным делением общества, наличием феодальных пережитков и привилегий духовенства и дворянства. Термин закрепился в историографии с конца XVIII века и утвердился благодаря работе Алексиса де Токвиля «Старый порядок и революция» (1856).

[2] **«Революция 1793 года».** Паскье датирует Революцию 1793 годом — годом казни Людовика XVI (21 января 1793 г.) и установления Комитета общественного спасения, а не 1789 годом. Это авторская позиция, отражающая восприятие событий консервативным мемуаристом, для которого подлинным «началом» революционных потрясений

стала гибель монархии. Общепринятая периодизация: Великая французская революция — 1789–1799 гг.

[3] **Июльские ордонансы.** Четыре ордонанса, подписанные королём Карлом X 25 июля 1830 года: о роспуске Палаты депутатов, об изменении избирательного закона, о введении строгой цензуры и о назначении новых выборов. Вызвали Июльскую революцию 1830 года, приведшую к падению династии Бурбонов и воцарению Луи-Филиппа. Паскье был свидетелем этих событий и участником политической жизни Июльской монархии.

[4] **Жан-Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778).** Французский философ, писатель, композитор швейцарского происхождения; уроженец Женевы. Его педагогический трактат «Эмиль, или О воспитании» (1762) произвёл переворот в представлениях о воспитании детей, пропагандируя естественное воспитание, закаливание, отказ от пеленания и т. д. Методы, о которых пишет Паскье, прямо восходят к Руссо. Умер в Эрменонвиле; в эпоху Революции его прах был перенесён в Пантеон.

[5] **«Женевский гражданин».** Жан-Жак Руссо, родившийся в Женеве и гордившийся своим гражданством; в своих сочинениях он неизменно подписывался «Ж.-Ж. Руссо, гражданин Женевы». Руссо был принят в женевское граж-

данство в 1712 году и сохранял его до конца жизни, несмотря на конфликты с женеvскими властями.

[6] ****Изгнание Парламента (1771).**** Канцлер Рене-Николя де Мопу, министр юстиции Людовика XV, в 1771 году упразднил Парижский парламент и заменил его новыми судебными учреждениями; члены парламента были изгнаны. Это событие вызвало широкое недовольство и способствовало росту оппозиционных настроений. После смерти Людовика XV (1774) старые парламенты были восстановлены Людовиком XVI.

[7] ****Инокуляция (вариоляция).**** В XVIII веке практиковалась прививка натуральной оспы (вариоляция) — предшественница вакцинации Дженнера. Французское **vacciner**, употреблённое Паскье, в XVIII веке означало именно инокуляцию (вариоляцию), а не вакцинацию в современном смысле (метод Дженнера появился в 1796 году). Термин «инокуляция» в академическом издании предпочтителен как исторически точный.

[8] ****Хорлох (Horloch).**** Английский врач, пропагандист вариоляции; прибыл в Париж раньше братьев Саттон. В ряде переводов встречается как Орлок; здесь сохранена форма, более близкая к французской передаче имени. В оригинале рукописи имя могло быть искажено OCR; возможны ва-

рианты *Hourlot*, *Houlston* и др. Точная идентификация требует сверки по академическому изданию мемуаров.

[9] **Братья Саттон (Sutton).** Даниэль и Роберт Саттон, английские врачи, пропагандисты вариоляции; в 1760-х годах основали в Лондоне «институт» для прививки оспы. Их метод был более безопасным, чем предшествующие, и получил распространение во Франции. Даниэль Саттон (1735–1819) был лейб-медиком герцога Бедфорда.

[10] **Бувар (Michel-Joseph Bouvard, 1746–1814).** Французский врач, лейб-медик Людовика XVIII. Позиция Бувара, объявившего, что надлежит примириться с потерей матери или ребёнка, отражает распространённые в XVIII веке представления о пределах врачебного вмешательства и о «воле Божией» в тяжёлых случаях.

[11] **Вольтер (Voltaire, настоящее имя François-Marie Arouet, 1694–1778).** Французский писатель, философ, историк, один из главных представителей Просвещения. Учился в Коллеже Людовика Великого у отца Поре. Автор «Кандида», «Философских писем», «Опыта о нравах» и др. Вёл переписку со многими европейскими монархами; жил в Ферне (1758–1778). Паскье-старший учился с Вольтером в одном классе.

[12] ****Отец Поре (Charles Porée, 1675–1741).**** Французский иезуит, профессор риторики в Коллеже Людовика Великого; среди его учеников — Вольтер. Паскье-старший учился у него в одно время с Вольтером. Поре был известен своим ораторским искусством и либеральными взглядами на образование.

[13] ****Отвечающий.**** В католической мессе «отвечающий» (лат. **respondens**, фр. **répondant**) — мирянин или клирик, произносящий ответы на возгласы священника. В переводе ранее стояло «прислужник», что неточно: прислужник (министрант) выполняет иные функции.

[14] ****Сцена с дедом и мессой.**** Эпизод отражает сочетание личной набожности и строгого следования ритуалу, характерное для магистратской среды конца Старого порядка. Готовность восьмидесятилетнего старика заменить отсутствующего отвечающего — жест смирения, подчёркивающий его искреннюю веру. В контексте мемуаров этот эпизод важен как свидетельство о нравах старой магистратуры.

[15] ****Коллеж Жюйи (Juilly).**** Основан в 1638 году орденианцами; одно из самых престижных учебных заведений Франции при Старом порядке. Среди выпускников — Монтескьё, Бюффон, Ларошфуко. Закрыт в 1793 году, вновь открыт в 1808 году. В эпоху Паскье коллеж славился высо-

ким уровнем преподавания и строгой дисциплиной.

[16] ****Отец Пти.**** Настоятель коллежа Жюйи в 1770-х годах; сведений о нём сохранилось мало. Возможно, имеет-ся в виду один из ораторианских настоятелей, управлявших коллежем в тот период.

[17] ****Отец Мандар.**** Ораторианец, проповедник, готовивший учеников к первому причастию; включён в список королевских проповедников. Сведений о нём сохранилось мало; его роль в воспитании Паскье подчёркнута самим мемуаристом.

[18] ****Ораторианцы.**** Конгрегация Оратории Иисуса и Марии, основанная в 1611 году кардиналом де Берюлем. Занималась образованием духовенства и мирян. Ораторианцы были известны строгой дисциплиной и сильным гуманитарным циклом; их близость к янсенизму (через связь с Пор-Роялем) объясняет выбор матери героя. Конгрегация была упразднена в 1790 году.

[19] ****Янсенизм.**** Религиозное движение внутри католицизма, осуждённое папой в 1713 году буллой *Unigenitus*. Янсенизм подчёркивал необходимость благодати и предопределения, выступал против иезуитского молинизма. Оказал значительное влияние на воспитание и быт французско-

го общества XVIII века. Центром янсенизма был монастырь Пор-Рояль, разрушенный в 1710 году. Янсенистские идеи разделяли многие магистраты и представители «судейского сословия».

[20] ****Неаполитанский катехизис.**** Авторитетный в янсенистских кругах компендиум догматики; его многотомность и сложность были предметом жалоб у воспитанников. Сведений о точном названии и авторе не сохранилось; возможно, речь идёт о катехизисе, составленном неаполитанским епископом или богословом и принятом во французских янсенистских кругах.

[21] ****Религиозные конгрегации.**** В данном контексте — монашеские ордена и конгрегации, занимавшиеся образованием (ораторианцы, иезуиты, лазаристы и др.). Термин «конгрегация» точнее, чем «корпорация», поскольку речь идёт о церковных институтах.

[22] ****Моле (François-René Molé, 1734–1802).**** Французский актёр, один из ведущих трагиков «Комеди-Франсез». Упоминается в третьей главе как посетитель салона мадемуазель Конта. Возможно, речь идёт о его родственнике, учившемся с Паскье в Жюйи.

[23] ****д'Этамп.**** Соученик Паскье по коллежу Жюйи;

сведений о нём сохранилось мало.

[24] ****Мези.**** Соученик и близкий друг Паскье; сведений о нём сохранилось мало.

[25] ****Арно (Antoine-Vincent Arnault, 1766–1834).**** Французский драматург, поэт и политический деятель; автор трагедии «Марий в Минтурнах» (1791). Член Французской академии (1803; в 1816 году исключён за приверженность Наполеону, в 1819 году восстановлен). Учился в коллеже Жюйи одновременно с Паскье; был членом Института, занимал административные должности при Наполеоне. Не путать с Люсьеном Арно (1787–1863), его сыном, тоже драматургом.

[26] ****«Марий в Минтурнах» (Marius à Minturnes).**** Трагедия в трёх действиях, написанная Антуаном-Венсаном Арно в 1791 году. Посвящена римскому полководцу Гаю Марию, который, будучи изгнан, скрывался в болотах Минтурн. Пьеса имела огромный успех.

[27] ****Берье (Mme Berryer).**** Вдова Николя-Рене Берье (1703–1762), занимавшего должности интенданта, государственного советника и морского министра при Людовике XV. Мать г-жи де Ламуаньон (урождённой Берье). Её салон в Париже и замок Тюбёф были центрами светской жизни.

Сведений о её жизни сохранилось мало; Паскье описывает её как женщину тонкого ума и необычайной нравственной энергии.

[28] ****Поместье Кулан (Coulans).**** Родовое имение семьи Паскье близ Ле-Мана; возведено в баронство. В нём Паскье проводил каникулы в детстве.

[29] ****Ле-Ман (Le Mans).**** Город в провинции Мэн на западе Франции; центр одноимённого епископства. В XVIII веке — провинциальный город с богатой светской жизнью.

[30] ****Епископство Ле-Манское.**** Одно из наиболее богатых и престижных епископств Франции. Кафедральный собор Ле-Мана — один из крупнейших памятников готической архитектуры.

[31] ****Гримальди.**** Аббат, затем епископ Ле-Манский (в последние годы царствования Людовика XV), впоследствии переведён на кафедру в Нуайон. Из знатного рода Гримальди; в эпоху Революции эмигрировал в Англию, где, по-видимому, и умер. Сведений о его жизни сохранилось мало.

[32] ****Генеральные викарии (grands vicaires).**** В католической церкви — должностные лица епархии, назначаемые епископом и помогающие ему в управлении. Термин «глав-

ные викарии» неточен; в русской традиции принято «генеральные викарии».

[33] **Сен-Сюльпис (Saint-Sulpice).** Семинария в Париже, основанная в 1641 году; готовила священников. Гримальди учился там вместе со своими будущими викариями. Семинария Сен-Сюльпис была известна строгой дисциплиной и высоким уровнем богословского образования.

[34] **Мопу (René-Nicolas de Maupeou, 1714–1792).** Канцлер Франции в 1768–1774 гг.; в 1771 году провёл реформу, упразднившую Парижский парламент. После смерти Людовика XV его реформа была отменена, старые парламенты восстановлены.

[35] **Пейзажный парк (jardin anglais).** Пейзажный парк, противопоставлявшийся регулярному французскому саду; мода на него распространилась во Франции во второй половине XVIII века. Термин «английский сад» неточен: в русской традиции принято «пейзажный парк».

[36] **Нуайон (Noyon).** Епископство в Пикардии; Гримальди был переведён туда из Ле-Мана. Нуайонская кафедра была одной из старейших и наиболее престижных во Франции.

[37] **Месье (Monsieur).** Титул старшего брата короля; при Людовике XVI — граф Прованский (будущий Людовик XVIII). Драгунский полк Месье — полк, номинальным шефом которого являлся брат короля; фактическим командиром был г-н де Лашатр.

[38] **Лашатр (La Châtre).** Французский аристократ, командир драгунского полка Месье в Ле-Мане; сведений о нём сохранилось мало. Его жена, г-жа де Лашатр, была известна своей светскостью и любовными связями.

[39] **Замок Маликорн (Malicorne).** Поместье семьи Лашатр близ Ле-Мана; центр светской жизни провинции.

[40] **«Обитель галантности».** Цитата из Корнеля (вероятно, из «Лжеца» или «Никомеда»); означает место любовных интриг. В переводе ранее стояло «пребывание галантностей» — неточно.

[41] **Замок Тюбёф (Tubeuf).** Поместье семьи Берье; большой кирпичный замок с парком. В нём Паскье проводил каникулы.

[42] **Берье (Nicolas-René Berryer, 1703–1762).** Французский государственный деятель, морской министр при Людовике XV; занимал также должности интенданта и госу-

дарственного советника. Отец г-жи де Ламуаньон.

[43] **Ламуаньон (Mme de Lamoignon).** Урождённая Берье; жена Кретьена-Франсуа де Ламуаньона (1735–1789), хранителя печатей при Людовике XVI. Мать мадемуазель Луизы де Ламуаньон.

[44] **Бавиль (Basville).** Имение семьи Ламуаньон; место разорения главы семьи.

[45] **Бальбатр (Claude-Bénigne Balbastre, 1724–1799).** Знаменитый французский органист и клавесинист, придворный музыкант; органист собора Нотр-Дам и королевской капеллы. Его уроки брала мадемуазель Луиза де Ламуаньон.

[46] **Моле.** Знаменитая судебская семья; из неё происходил, в частности, первый председатель Парижского парламента. Брак мадемуазель Луизы де Ламуаньон с представителем семьи Моле был естественным союзом двух магистратских родов.

[47] **Особняк Моле (hôtel Molé).** Городской особняк семьи Моле в Париже; здесь *hôtel* означает «особняк», а не «гостиница».

[48] **Дело Лалли.** Граф Томас Артур де Лалли (1702–

1766), командующий французскими войсками в Индии, после капитуляции Пондишери в 1761 году был обвинён в измене, осуждён Парижским парламентом и казнён в 1766 году. Его сын, Лалли-Толлендаль (1751–1830), добивался пересмотра дела; реабилитация состоялась в 1778 году. Дед Паскье был докладчиком по этому делу и подвергался критике Вольтера.

[49] **Дело Лабарра.** Жан-Франсуа де Лабарр (1747–1766), дворянин, был обвинён в святотатстве (повреждение распятия) в Абвиле, осуждён и казнён в 1766 году. Дело стало символом религиозной нетерпимости; Вольтер написал «Комментарий к книге „Преступления и наказания“» в защиту Лабарра. Дед Паскье как докладчик по делу подвергался критике.

[50] **Лагарп (Jean-François de La Harpe, 1739–1803).** Французский драматург, поэт, критик. В 1801 году опубликовал «Литературную переписку», где воспроизвёл обвинения против деда Паскье.

[51] **«Journal des Débats».** Влиятельная французская газета, основанная в 1789 году; в эпоху Консульства и Империи — орган либеральной оппозиции.

[52] **Лалли-Толлендаль (Trophime-Gérard, marquis de

Lally-Tollendal, 1751–1830).** Французский политический деятель, сын казнённого графа де Лалли; добился пересмотра дела отца. Депутат Генеральных штатов, один из лидеров конституционалистов. В эпоху Реставрации — пэр Франции.

[53] **Ферне (Ferney).** Поместье Вольтера близ Женевы, где он жил с 1760 года до смерти в 1778 году. В 1758 году Вольтер приобрёл имение Ферне и перестроил его в усадьбу; там он принимал многочисленных гостей и вёл обширную переписку.

[54] **«Великий Король».** Имеется в виду Фридрих II Прусский (1712–1786), при дворе которого Вольтер жил в 1750–1753 гг. и куда он устроил одного из своих протеже (вероятно, инженера). Фридрих II покровительствовал Вольтеру и вёл с ним переписку; после разрыва отношения были восстановлены.

[55] **Гораций, «Наука поэзии», ст. 177.** *Senior ac melior fit accidente senecta* — «Становится старше и лучше с наступающей старостью». Цитата не находится у Горация в этом виде; возможно, Вольтер парафразирует или приводит по памяти (ср. *Ars Poetica*, 177: *multa senem circumveniunt incommoda* — «Многие невзгоды окружают старика»). В переводе ранее стояло «вместе с Горацием» — неточно.

[56] ****Сапест (Sareste).**** Французский юрист, профессор права; сведений о нём сохранилось мало. Паскье упоминает его лекции по «Общественному договору» Руссо как характерную черту эпохи.

[57] ****«Общественный договор» (Du contrat social).**** Тракта́т Ж.-Ж. Руссо (1762), излагающий теорию народного суверенитета. Использование его как учебника права в коллеже характеризует дух эпохи.

[58] ****Счётная палата (Cour des comptes).**** Высший финансовый суд Старого порядка; ведала проверкой государственных расходов.

[59] ****Палаты косвенных сборов (Cours des aides).**** Судебные органы, разбиравшие дела, связанные с косвенными налогами.

[60] ****Вобан (Sébastien Le Prestre de Vauban, 1633–1707).**** Знаменитый французский военный инженер, маршал Франции, строитель крепостей. Его имя стало нарицательным для обозначения военно-инженерного гения.

[61] ****Политехническая школа (École polytechnique).**** Основана в 1794 году; первоначально готовила инженеров

и артиллеристов. Упоминание её в контексте XVIII века — анахронизм, но характерный для автора, писавшего в XIX веке.

[62] **Председатель Каррон (Jean-Baptiste Saron).** Член Парижского парламента, астроном-любитель; сведений о нём сохранилось мало.

[63] **Диони дю Сежур (Dionis du Séjour, 1734–1794).** Французский математик и астроном, член Парижского парламента; автор работ по геометрии и астрономии. Казнён при Терроре.

[64] **Ферран (Antoine-François Ferrand, 1745–1828).** Французский магистрат, советник Парижского парламента; составитель ремонстраций. Впоследствии эмигрировал. Упоминается также во второй главе.

[65] **Фавье (Jean-Louis Favier, 1711–1784).** Французский драматург и литератор; автор комических опер. Сведений о его авторстве «Поля и Виргинии» не сохранилось; вероятно, Паскье имеет в виду оперу, а не роман.

[66] **«Поль и Виргиния» (Paul et Virginie).** Роман Жака-Анри Бернардена де Сен-Пьера, опубликованный в 1788 году. Г-н Фавье — вероятно, имеется в виду Жан-Луи Фавье,

автор комических опер; его авторство «Поля и Виргинии» — ошибка памяти Паскье (роман написан Бернарден де Сен-Пьером). В 1790-х годах действительно существовала опера «Поль и Виргиния» (Лёзёр, 1794), но Паскье говорит о событиях до 1788 года, так что это, вероятно, ошибка памяти — если только не имела в виду более ранняя постановка.

[67] **Лицей (Lycée).** Публичные лекции по литературе, наукам и искусству, открытые в Париже в 1785 году. Не путать с современным лицеем как типом учебного заведения. Лицей был основан по инициативе Жана-Франсуа де Лагарпа и других литераторов; лекции читались в помещении на улице Сент-Оноре.

[68] **Лагарп (Jean-François de La Harpe, 1739–1803).** Французский драматург, поэт, критик; профессор Лицея. В 1801 году опубликовал «Литературную переписку», где воспроизвёл обвинения против деда Паскье.

[69] **Фуркруа (Antoine-François de Fourcroy, 1755–1809).** Французский химик и политический деятель; профессор Лицея. Сподвижник Лавуазье; в эпоху Революции — член Конвента, организатор системы образования.

[70] **Гара (Dominique-Joseph Garat, 1749–1833).** Французский писатель и политический деятель; профессор

Лицея. В эпоху Революции — министр юстиции, член Конвента.

[71] **Парсьё (Antoine de Parcieux, 1703–1768).** Французский математик и инженер; сведений о его лекциях в Лицее сохранилось мало. Возможно, Паскье имеет в виду другого профессора.

[72] **«Путешествие молодого Анахарсиса» (Voyage du jeune Anacharsis en Grèce).** Сочинение аббата Жан-Жака Бартеlemi (1716–1795), опубликованное в 1788 году; описывает путешествие скифского мудреца Анахарсиса по Греции IV века до н. э. Имело огромный успех, считалось образцом исторического романа.

[73] **Дворец (Palais).** Дворец правосудия в Париже, где заседал Парижский парламент; «волновали Дворец» — то есть обсуждались в судебных кругах.

Глава 2

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вступление советника Паскье в Парламент. — Собрание нотаблей. — Министерство г-на де Калонна, затем г-на де Фуркё и, наконец, г-на де Бриенна. — Сопротивление Парламента эдиктам. — Состав этой корпорации. — Большая палата. — Большая скамья президентов с шапками. — Гг. де Сен-Фаржо, д'Алигр, де Трюден. — Парламент требует Генеральных штатов. — Изгнание герцога Орлеанского. — Заключение советников Сабатье и Фрето. — Продолжение войны между Парламентом и Двором с 1787 по 1788 год. — Захват и арест советников д'Эпремениля и Гоислара де Монсабера. — Эдикт о созыве Генеральных штатов. — Отставка г-на де Бриенна; самоубийство г-на де Ламуаньона. — Возвращение к делам г-на Неккера. — Г-н аббат Сьейес. — Открытие Генеральных штатов. — Рассуждения о режиме, предшествовавшем Революции. — Счастливое положение Франции с 1783 по 1789 год. — Развращённость Двора: чрезмерная роскошь, расшатанность нравов, дух безрелигиозный, фрондёрский и утопический.

Я был принят советником в Парижский парламент[1] на двадцатом году жизни. Это было в январе 1787 года, в тот

момент, когда объявление о собрании нотаблей[2] занимало все умы.

Г-ну де Калонну[3] понадобились повелительные грамоты[4], чтобы заставить зарегистрировать его последний заём в 80 миллионов; ему нужно было ещё 60 миллионов, чтобы расплатиться за 1786 год; не смея вновь предстать перед Парламентом, он придумал собрание нотаблей, от которого надеялся получить для своих различных проектов своего рода национальную санкцию, которая поставила бы его выше парламентского сопротивления; он рассчитывал добиться одобрения замены налога «двадцатин»[5] на постоянную земельную субвенцию[6], распределяемую в равных пропорциях на все виды имущества, в том числе на имущество духовенства. Он хотел также отодвинуть заставы на границах королевства, окончательно отменить личную барщину[7], заменив её денежной повинностью, справедливо распределённой.

Чтобы облегчить принятие этих перемен, он предлагал учреждение провинциальных собраний[8] во всех провинциях, не имевших собственных штатов[9]. Эти взгляды могли быть хороши, но г-н де Калонн отличался легкомыслием, из-за которого не сумел принять необходимые меры, чтобы обеспечить их принятие. Он недостаточно следил за составом этого собрания и допустил в него, по настояниям, кото-

рым не сумел воспротивиться, тех, кто мог причинить ему наибольшие затруднения. Именно там г-н де Лафайет[10] впервые выступил. Выбранная им почва была такова, что могла снискать ему общественное расположение. Он выступил за отмену *lettre de cachet*[11] и государственных тюрем. Вскоре он присоединил к этому требованию восстановление гражданского состояния протестантов и ближайший созыв депутатов нации.

Что до г-на де Калонна, его работа не была даже полностью завершена к моменту открытия собрания. В этот столь важный момент у него ещё была нерешительность в некоторых планах; это знали, и невозможно было этим не воспользоваться. Всем известно, как он был низвергнут нотаблями, которых сам созвал; как после весьма краткого министерства г-на де Фуркё[12] придворные интриги, выдвинувшие эту блистательную бездарность лишь для того, чтобы выиграть время и расставить другие батареи, добились наконец — несмотря на личную неприязнь Людовика XVI — назначения г-на де Бриенна[13], архиепископа Тулузского. Сначала он был назначен лишь на управление финансами, но вскоре стал главным министром[14].

Магистрат, исполнявший обязанности хранителя печатей[15], был расположен поддерживать его в его безумных предприятиях. Он носил одно из самых красивых имён ма-

гистратуры; ему удалось прослыть человеком незаурядных дарований, намного превышающих его действительную ценность. Г-н де Ламуаньон[16] в последние дни министерства г-на де Калонна заменил г-на де Миромениля[17]. Он давно питал надежду на это высокое положение; оно должно было обеспечить ему место канцлера[18], которое преклонный возраст г-на де Мопу[19] мог в любой момент сделать вакантным, и он рассчитывал на это наследство, чтобы поправить своё состояние, расстроенное самыми необдуманно расходами. Этот беспорядок можно было справедливо рассматривать как явный симптом упадка, в какой пришёл дух магистратуры, некогда столь ревностно оберегавшей уважение, какое ей обеспечивали серьёзность её нравов и строгий порядок её внутреннего уклада.

Как понять, например, что мадемуазель де Ламуаньон[20] была безутешна, выйдя замуж за единственного наследника рода д'Агессо[21], потому что этот брак не позволял ей быть представленной ко Двору? Было слишком очевидно, что г-н де Ламуаньон не откажет в содействии ни одному из актов, какие сочтёт необходимыми для сохранения положения, из которого не мог выйти, не низвергнувшись в пропасть. Итак, он отдался на службу архиепископу и обязался перед ним преодолеть, в случае нужды, все сопротивления парламентов и, в частности, Парижского парламента, в котором, как полагал, располагал могущественной поддержкой.

Укрепившись этой уверенностью, г-н де Бриенн, обеспечив насущные нужды созданием 6 000 000 ливров пожизненных рент, избавился от собрания нотаблей; чтобы удовлетворить свои обязательства, а также всё более настоятельные нужды в деньгах, он завладел всеми планами г-на де Калонна и составил эдикты, которые вскоре отнёс в Парижский парламент.

Учреждение провинциальных собраний и декларация о свободе торговли хлебом не вызвали затруднений; но иначе обстояло дело, когда явились эдикты о гербовом сборе[22] и о земельной субвенции. Тогда-то и проявилось великое сопротивление Парижского парламента. Я состоял в этой корпорации уже семь месяцев и видел, как с этим сопротивлением началась цепь событий, которые непрерывно вели нас к революции 1789 года.

В мои намерения не входит шаг за шагом проследивать ход прений, возникших тогда между Двором и магистратурой. Я не хочу повторять то, что написано во всех «Мемуарах» того времени, что особенно подробно изложено, вплоть до мельчайших деталей, в сочинении г-на Салье[23], как и я, бывшего советником Парламента. Я хочу представить по этому предмету лишь несколько общих соображений, которые, как мне кажется, способны лучше помочь уяснить со-

вокупность событий.

Парижский парламент был, без сомнения, опрометчив в своей оппозиции и особенно в средствах, какие употреблял, чтобы сделать её действенной. Он слишком легко уступил потребности в популярности, которой его природная серьёзность должна была бы воспротивиться. Он не довольствовался отказом в регистрации налогов; он объявил себя неспособным когда-либо их регистрировать, а это была величайшая ошибка, какую он мог совершить, ибо это значило распоряжаться будущим, которое ему не принадлежало.

Требовать Генеральных штатов как необходимой меры было более чем неосторожностью — это было насилием над королевской властью, и, согласно принципам магистратуры (я говорю здесь её языком, я становлюсь на её обычную точку зрения), она никогда не должна была позволять себе такого насилия. Итак, я не ослеплён относительно ошибок этого Парламента, частью которого я был; но, признавая их таким образом, я полагаю, что тем самым приобретаю право быть не менее искренним и относительно ошибок Двора. Я говорю «Двор», потому что тогда именно там находилось правительство. Сколько ошибок, сколько неловкости в его поведении! Г-н де Калонн берёт на себя инициативу всех нововведений, он даёт толчок и отказывается следовать движению, рождённому этим толчком.

А ведь это было единственным средством его направить; вместо того чтобы пустить в ход ловкость, он прибегает к силе; из всех пружин, какие он держит в руках, ему недостаёт как раз тех, в которых он должен был бы быть наиболее уверен.

С первых же дней Парламент от него ускользает — главным образом и почти исключительно потому, что он одновременно является Палатой пэров[24].

Чтобы сделать это вполне понятным, мне нужно войти в некоторые подробности о составе и внутреннем положении Парламента в ту эпоху.

Во главе корпорации стояла так называемая большая палата[25]; она не заключала в себе ни выдающихся талантов, ни личности, пользовавшейся очень высоким уважением. Изгнание 1771 года[26] ускорило конец или вызвало отставку многих старых магистратов; с той эпохи в большую палату вступали в сорок-пятьдесят лет, тогда как прежде это случалось лишь в пятьдесят-шестьдесят.

Большая скамья, то есть скамья президентов с шапками[27], была ещё занята великими именами магистратуры, подававшими пример самых почтенных добродетелей,

но среди этих имён не было ни выдающихся заслуг, ни, в особенности, ораторского таланта, кроме г-на де Сен-Фаржо[28]; то ли из лени, то ли из страха скомпрометировать себя, то ли по другим ещё причинам, какие объясняет конец его поприща, г-н де Сен-Фаржо почти никогда этим талантом не пользовался.

Первое председательство занимал г-н д'Алигр[29], человек умный, довольно искусный как судья, но чья горячность в приумножении своего состояния уменьшила его авторитет. По этим различным причинам большая палата и магистраты, её составлявшие, не имели в остальной корпорации того веса, какой им должен был бы принадлежать.

Молодёжь сбросила ярмо своих старших. Предоставленная самой себе, увлечённая новыми идеями, она заключала в своих рядах нескольких счастливо одарённых людей, из которых многие даже могли слыть красноречивыми, но которые почти все были во власти горячности своего воображения. Не имея других руководителей, удивительно ли, что эта молодёжь была увлечена обаянием примеров, какие ей подавали величайшие имена Франции — Ларошфуко, д'Аркуры, Люины, д'Омоны, Люксембурги, Праслины[30] и столько других? В устройстве той эпохи было весьма примечательное обстоятельство: разнородные элементы, из которых состоял Парижский парламент как Палата пэров. Из ста пя-

тидесяти магистратов не более половины принадлежало к семьям, издавна посвятившим себя высоким должностям магистратуры; другая половина происходила от магистратов второго разряда и из среды высших финансовых кругов. Все они призывались в собраниях палат делить свои функции с людьми, облечёнными высшими государственными достоинствами.

В прениях голос младшего советника следственной палаты[31] значил столько же, сколько голос старейшего герцога и пэра, даже принца крови, ибо принцы крови заседали в Палате пэров. Такое установление в монархии было, без сомнения, самым народным или самым либеральным, что можно вообразить, если употребить слово, закреплённое сегодня.

Однако эта кажущаяся либеральность могла — и даже должна была чаще всего — обернуться на пользу королевской власти, ибо влияние принцев крови и герцогов и пэров не могло не быть большим в корпорации, устроенной подобным образом, и естественно должно было принадлежать короне. Если же это влияние обращалось против неё, опасность, правда, становилась тем больше; но разве не всегда в этом была вина правительства? Его неловкость в этом отношении проявлялась не раз на протяжении восемнадцатого века. За пятьдесят лет видели, как герцоги и пэры, даже принцы крови, принимали участие в жалких распрях, почти

всегда возбуждаемых совершенно ошибочными мерами, а иногда даже религиозными преследованиями. В этом смысле распри янсенизма и молинизма[32] были весьма серьёзны. Именно они особенно научили сопротивлению, приучили к нему умы в царствование Людовика XV. Несчастный Людовик XVI получил это прискорбное наследство.

В 1787 году почти всё выдающееся в пэрстве, почти всё, что соединяло с блеском этого высокого достоинства блеск ума образованного и изысканного, высказалось в Парламенте за сопротивление. Я хорошо помню, сколь могущественно было в умах молодых магистратов обаяние, какое они находили в следовании подобным вождям. Они вдруг увидели себя в партийной связи с этими великими именами, с этими крупными фигурами; а известно, до какой степени партийный дух сближает, даже стирает различия между сословиями. Столь обольстительная и столь непривычная близость легко вскружила головы; немногого требовалось, чтобы нас привлечь: приветливое слово, любезность, с какой считались с нашим мнением, быстро разрешали затруднение; затем, когда мы возвращались в свои дома, наши умы ещё оживлялись воспоминанием обо всём, что происходило в собраниях палаты. После этих собраний нас было человек двадцать, и мы обычно обедали вместе, чаще всего у нашего коллеги г-на де Трюдена[33], который позже сложил голову на эшафоте.

Люди более ловкие или более радикально настроенные, чем другие, заботились о том, чтобы разжигать наш пыл. Так, на одном из этих обедов, в котором участвовал г-н д'Эпремениль[34], г-н аббат Сабатье[35], довольно близко связанный с герцогом Орлеанским[36], впервые произнёс слово «Генеральные штаты». Это слово сначала нас удивило, но вскоре оно приобрело популярность. Когда через несколько дней оно было повторено в собрании палаты, его приняли по-разному; но, быть может, не было скамьи, где оно вызвало меньше удивления, чем на скамье гг. пэров. Серьёзные умы большой палаты были им встревожены. Я хорошо помню, что сказал мне тогда один из этих старых магистратов, который, проходя за моей скамьёй и заметив, что я довольно разгорячён, остановился и сказал: «Молодой человек, подобная идея часто выдвигалась во времена вашего деда; вот что он нам всегда тогда говорил: „Господа, это не детская игра; в первый раз, когда Франция увидит Генеральные штаты, она увидит также страшную революцию“».

Это предостережение и многие другие, какие нам давали люди, чьи советы имели однако некоторый вес, заставляли колебаться немалое число из нас. Большинство было увлечено ошибочным шагом человека талантливого, который в этот день положил начало целому ряду неловкостей, совершённых им с тех пор. То был г-н Ферран[37]. Он говорил хорошо, был уважаем и имел влияние; именно он обычно

составлял демонстрации[38]; он вообразил, что для отклонения требования Генеральных штатов следует показать, насколько существование Парламента неизбежно ослабнет с появлением Штатов.

Эта идея, которая могла бы произвести впечатление на некоторые спокойные и размышляющие умы, если бы он, взяв их поодиночке, ловко им её представил, произвела на массу собрания действие, прямо противоположное тому, какого он ожидал. С той минуты, как наш интерес был ясно поставлен на карту, мы не увидели ничего прекраснее, чем принести его в жертву тому, что считали общественным благом. Великодушные чувства овладели нами, и не было никакого средства нас удержать. С этого дня я начал свои наблюдения за многочисленными собраниями. Эта черта меня поразила, и я с тех пор не раз о ней вспоминал.

Итак, Парламент потребовал Генеральных штатов и объявил себя неспособным вотировать налог. Известно о его переводе в Труа[39] и о том, как он оттуда вернулся, образовав настоящую коалицию со всеми другими парламентами Франции. Два месяца спустя министерство возобновило борьбу. Когда переговоры только что шли так успешно, оно сочло уместным — без тени необходимости и когда этого менее всего ожидали — прибегнуть к силе и насилию. Без всякого предварительного предупреждения, по окончании ка-

никул, когда члены Парламента едва собрались, оно заставило Короля провести королевское заседание, на которое были принесены два важнейших эдикта: один устанавливал гражданское состояние протестантов, другой учреждал последовательные и постепенные займы на пять лет. Эти займы вместе составляли 420 миллионов. Эта последняя мера была, несомненно, одной из самых смелых. Её принятие предполагало абсолютное доверие к правительству, а это доверие могло установиться лишь при предварительном представлении наиболее искусно задуманного финансового плана, исполнение которого было бы полностью обеспечено.

По-видимому, чтобы внушить доверие в этом отношении, эдикт — ещё одна неосторожность — содержал обещание созыва Генеральных штатов до истечения пяти лет. Приманка была слишком грубой и никого не обманула. Король предоставил каждому свободу выразить своё мнение, и эдикт был весьма сильно оспорен. Но голоса не были подсчитаны. Многие полагали, что если бы их подсчитали, большинство было бы благоприятным. Я, однако, так не думаю. И после обсуждения, свободного лишь по видимости, канцлер по приказу Короля объявил о регистрации в порядке лит-де-жюстис[40].

Тогда-то г-н герцог Орлеанский, протестуя против этого насилия, потребовал, чтобы в реестр было по крайней мере

занесено, что это было по особому повелению Его Величества. Таков был его первый явный акт оппозиции. Он имел высокую важность. Никогда правительство не давало своим противникам более удобного случая.

Этот открытый бунт произвёл большое впечатление на публику и одновременно вызвал при Дворе самое яростное раздражение. Герцог Орлеанский был на следующий день изгнан в Виллер-Котре[41], и, чтобы ничто не ускользнуло из того, что могло разгорячить умы, два советника Парламента, гг. Сабатье и Фрето[42], были схвачены и отвезены в крепости. У них не было иной вины, кроме того, что они воспользовались разрешением, данным им Королём, свободно выразить своё мнение перед ним. Я присутствовал на этом королевском заседании, и, без сомнения, едва ли нужно говорить, сколь живо было впечатление, какое у меня от него осталось, и сколь возмущён я был его последствиями. Если я отмечаю свои впечатления и чувства по этому случаю, то потому, что, не будучи в сущности в ту эпоху подвластен какому-либо установившемуся политическому мнению, очевидно, что то, что я испытывал, должно было не менее живо ощущаться массой граждан.

Я, однако, не скрываю, что мой молодой ум был сильно потрясён талантом наших ораторов, что я, более всего, был в упоении от таланта г-на д'Эпремениля. Он превзошёл са-

мого себя на королевском заседании и избежал насильственной меры, поразившей его двух коллег, лишь благодаря волнению, какое вызвал у самого Короля. Ещё один член Парламента был, как и он, избавлен от министерской мести по собственной воле Короля. То был г-н Робер де Сен-Венсан[43]. Факт примечателен, ибо даёт новое доказательство добросовестности Людовика XVI. Г-н де Сен-Венсан говорил с большей горячностью, чем кто-либо, но язык его был фамильярным, даже грубым, и Король счёл, что увидел в нём черты честности и прямоты, каких не мог признать в медоточивом тоне г-на Фрето и в остроумных оборотах г-на аббата Сабатье. Этот последний, впрочем, слыл одним из тайных советников г-на герцога Орлеанского.

Король сам защитил г-на де Сен-Венсана перед своими министрами, которым уступил двух других. Этот несчастный государь в этой парламентской сцене показал себя далеко не с лучшей стороны. Его волнение во время речи г-на д'Эпремениля послужило лишь доказательством, что у него не хватало мужества следовать собственным впечатлениям, а во время протеста герцога Орлеанского он сумел лишь произнести тоном, весьма мало королевским, несколько слов о том, что такова его воля.

Стало очевидно, что близкий созыв Генеральных штатов неизбежен.

Итак, если бы правительство обладало малейшей прозорливостью, оно занялось бы лишь средствами прийти к этому созыву без слишком больших потрясений и сохранив в своих руках достаточно силы, чтобы противостоять бурям, какие могло вызвать это событие. Г-н д'Эпремениль сделал на королевском заседании предложение, которое в этом смысле было наилучшим из всего, что Парламент мог предложить. Он соглашался на регистрацию займов на первые два года, но при условии, что Король формально обещает созвать Штаты в 1789 году. Именно это предложение и поколебало Короля. Его министры это увидели, и, быть может, страху, какой они от этого испытали, следует приписать ту поспешность, с какой они подтолкнули Его Величество к мерам, какие не оставляли больше шансов для переговоров.

Война между Парламентом и Двором продолжалась до конца 1787 года и в первые месяцы 1788 года. Эта война велась со стороны Парламента с умеренностью в формах и в языке, что весьма возвысило в глазах публики преимущества его положения. Его личная ссора не помешала ему исполнять свой долг перед Государством, государем и частными лицами; и он не впал вновь в ошибку, какую совершил в другие эпохи, — прерывать отправление правосудия. Напротив, он, казалось, удвоил деятельность, чтобы удовлетворить всему, чего от него ожидали. Занимаясь после королевского

заседания эдиктом о гражданском состоянии протестантов, он сделал это с похвальной мудростью. Когда были потребованы некоторые изменения в редакции, г-н де Мальзерб[44], автор эдикта, поспешил поддержать предложение в королевском совете, и эдикт был зарегистрирован почти единогласно.

Этот факт весьма достоин внимания: Парижский парламент был, быть может, в ту эпоху собранием людей, в котором было больше всего религиозных принципов и наибольшая привязанность к религии наших отцов. Эти принципы соединялись с большим просвещением, и тем более приходится сожалеть, что столь драгоценное преимущество было так скоро презрено и обращено в ничто.

Не переставали требовать свободы и возвращения магистратов, которые были схвачены. Ответы, внушаемые Королю его министрами, всегда были не только отрицательными, но даже отличались замечательной сухостью. Результатом было то, что обсуждение перешло от изолированного факта к общим вопросам. Были составлены ремонстрации о принудительных регистрациях, о *lettres de cachet*, об опасностях власти, которая не знала бы иных границ, кроме своей воли. Эти ремонстрации, всегда почтительные, были однако сильны доводами. Поэтому они могущественно действовали на умы, и тогда-то Парламент увидел себя вознесён-

ным на высшую ступень общественного уважения и народной благосклонности. Уже во время перевода корпорации в Труа на Новом мосту[45] и в окрестностях Дворца происходили шумные сцены. В марте и апреле 1788 года внутренние залы Дворца стали театром этих менее народных, но тем самым более опасных манифестаций. Ибо то была уже не только басош[46], то есть молодые адвокаты и писцы прокуроров, но почти вся образованная и лучше всего воспитанная молодёжь столицы, которая окружала место, где происходили собрания палаты, и сопровождала овациями магистратов, смотря по тому, считала ли она их более решительными в мнениях, пользовавшихся благосклонностью дня.

Я не могу отрицать, что многие из нас были весьма чувствительны — более чувствительны, чем подобало, — к этим овациям; что некоторые даже вызывали их по меньшей мере весьма нескромными разглашениями. Отсюда следовало, что если внутри залы, где собирались палаты, слышен был лишь язык независимости, сдержанной в границах приличия, какие ни один член корпорации не осмелился бы преступить, то совсем иначе обстояло дело в окружающих залах и особенно в зале «Потерянных шагов»[47]. Там речи и разговоры были более чем смелыми, они были мятежными: каким бы ни было моё увлечение в эти дни волнения, мне однако было трудно защититься от некоторых опасений относительно последствий зрелища, поражавшего мои глаза.

Мне вспоминался мой кардинал де Рец[48], и я полагал, что ясно вижу, что наш образ действий слишком уж напоминает Фронду[49].

Однажды, между прочим, будучи более, чем обычно, поражен этим сходством, я был на грани того, чтобы сказать это в полном собрании палаты, в тот момент, когда, по обычаю, секретарь называл моё имя, чтобы узнать моё мнение. Мужества мне не хватило, и я ограничился, как обычно, тем, что присоединился к мнению такого-то или такого-то. Если бы я уступил движению, которое меня толкало, я произвёл бы довольно большой скандал, но мне осталось бы от этой смелости сознание того, что я, будучи совсем молодым, имел предвидение, какого недоставало слишком многим людям, которым оно подобало более, чем мне.

Однако я должен отдать моим коллегам должное: никто, даже среди наиболее увлечённых, не помыслил бы тогда о Фронде без смертельного ужаса. Успокаивала чистота намерений; к тому же питали наивное доверие к прогрессу, которому суждено было обмануть столь многих; и затем, надо признаться, мы были весьма легкомысленны и весьма мало склонны к размышлениям. У нас была вся неопытность долгого покоя и вся безрассудность, рождённая потребностью в удовольствиях, от которой самые серьёзные дела не имели власти нас отвлечь: утром — в собрании палаты, вечером —

на балу в Опере[50].

Правда, самые молодые встречались там с самыми серьёзными, самыми августейшими особами. Однажды меня там окликнул толстяк в маске, весьма остроумный, которому доставило удовольствие сделать мне весьма пикантное сопоставление между удовольствиями бала и теми, что были в собрании палаты, где он видел меня утром. Эта маска была не кто иной, как Месье[51], будущий Людовик XVIII. Когда я имел честь быть его министром в 1815 году, он соблаговолил напомнить мне этот анекдот; его можно добавить к столь многим другим, доказавшим, что Его Величество обладал одной из лучших памятей своего королевства.

Правительство с каждым днём шло к всё большему затруднению. Уже нельзя было питать никаких иллюзий насчёт невозможности реализовать последовательные займы, регистрация которых была столь злополучно навязана на королевском заседании; это был ресурс, от которого приходилось отказаться. «Двадцатина», утверждённая в Труа, уплачивалась в провинциях лишь с величайшим трудом. Другие Парламенты, видя малый успех снисходительности Парижского, ставили этому взиманию все мыслимые препятствия; некоторые дошли до отказа регистрировать эдикт, который должен был его санкционировать. Были переводы, изгнания, приказы в Версаль.

Тогда-то на упрёк в деспотизме, адресованный магистратами министрам Короля, те ответили упрёком в аристократии. Он был даже занесён в королевский ответ. Так впервые из уст самого Короля вышло это обвинение, столь часто повторявшееся с тех пор революционным эхом. Однако не такими взаимными погрёками могло правительство выйти из невыносимого положения, в какое себя поставило: нужны были более энергичные средства.

Остановились на пресловутом проекте Полной палаты (Cour plénière)[52]. Г-н де Ламуаньон не мог один справиться с этой затеей. Он взял себе несколько сотрудников (аббат Морри[53] был в их числе), из которых некоторые, по-видимому, были недостаточно осмотрительны. Планы стали известны. 3 мая 1788 года Парижский парламент на заседании, в котором участвовали гг. пэры, принял постановление, где, напомнив основные пункты монархической конституции Франции, он объявлял нации о том, что готовится против общественных свобод в королевском совете, и заранее протестовал против всего, что будет сделано. Можно сказать об этом документе, составленном с редким искусством, что он убил Полную палату до её рождения. Те, кто его составлял, были осведомлены о подготовленных эдиктах.

Как только принятое постановление стало известно мини-

страм, оно возбудило их гнев, и заключение г-на д'Эпремениля, которого считали его главным автором, было тотчас решено. К нему присоединили — трудно сказать почему — г-на Гоислара де Монсабера[54], против которого не было иного обвинения, кроме того, что за несколько дней до того он донёс в собрании палаты о вымогательстве фиска при взимании «двадцатин». Итак, министерской мести был придан характер ребячества; она стала в высшей степени ненавистой, когда гг. д'Эпремениль и Гоислар, укрывшись, чтобы избежать ареста, в большой палате Дворца, были схвачены посреди собрания палат офицером гвардии, носителем королевских приказов.

Этот захват, предшествовавшее ему окружение Дворца, подробности этой своего рода осады, длившейся около двадцати четырёх часов, навлекли на тех, кто не побоялся прибегнуть к таким средствам, столько же ненависти, сколько презрения. Непонятно, как в момент роспуска Парламента министерство не почувствовало, что следует воздержаться от мести, отныне бесцельной и способной лишь усугубить затруднения его положения. Гг. д'Эпремениль и Гоислар были близки к тому, чтобы спастись через подземелья Дворца, где был выход к реке. Я видел их переодетыми, и в момент исполнения этого побега они были достаточно благоразумны, чтобы от него отказаться. Их отвезли: одного — в Сен-Мишель[55], другого — на Йерские острова[56].

8 мая в Версале состоялось королевское заседание, где были прочитаны и обнародованы — числом шесть — законы, уничтожавшие старую магистратуру, чтобы заменить её большими баляжами[57], предназначенными отправлять всякое правосудие, и Полной палатой, предназначенной занять место Парламентов для проверки и регистрации законов. Чтобы ни одной неуместности не было упущено, совершили ошибку, придав этому акту королевского всемогущества формы личной мести.

Речь Короля начиналась словами: «Господа, нет таких отклонений, каким бы мой парламент ни предавался в течение года». Итак, чтобы наказать Парижский парламент или, вернее, наказать некоторых членов этой корпорации, на которых, как полагали, имели основания жаловаться, уничтожили эту французскую магистратуру, столь достойную уважения, оказавшую столько услуг Государству и столь глубоко укоренённую в основах монархии! И человек, бывший главным автором этой столь важной меры, был потомком знаменитой семьи Ламуаньонов, весь блеск которой исходил от Парижского парламента!

Несмотря на столько ошибок, королевское заседание не было нарушено никаким актом, который мог бы обозначить малейшее сопротивление королевской воле. Выраже-

ние этой воли было выслушано в самом почтительном молчании. Я присутствовал на этой сцене, зрелище которой поразило меня тем более, что в течение всего времени, пока она длилась, можно было счесть себя перенесённым в среду придворного празднества.

Едва хватало места в Тронном зале[58] для членов Парламента — так велико было число женщин, заполнявших все стороны залы в блеске своего самого пышного наряда. Едва церемония закончилась, как уже начались неудачи для министров.

Члены большой палаты, предназначенные войти в Полную палату и получившие приказ остаться в Версале, написали Королю, чтобы заявить Его Величеству о невозможности для них принять новые функции, какие им были уготованы.

Вернувшись в Париж, советники других палат попытались собраться во Дворце, но он охранялся солдатами. Собравшись тогда у старейшин, они все обратились к хранителю печатей с индивидуальными протестами против того, что произошло на королевском заседании.

Министры в первый момент сочли — или сделали вид, что верят, чтобы убедить в этом Короля, — будто сопротивление

было лишь вопросом формы и падёт само собой. Если эта иллюзия была искренней, ей суждено было длиться недолго, ибо вскоре они не могли не узнать, что во всём королевстве поведение магистратуры было таким же и что в нескольких больших городах королевские комиссары, посланные для регистрации эдиктов, были освистаны, иногда даже избиты. За немногими исключениями, низшие магистратуры последовали примеру Парламента. Шатле[59] Парижа было важнейшим из этих магистратур, и хранитель печатей ни на одну не рассчитывал более, чем на него; именно оно высказалось против хранителя печатей с наибольшей энергией.

Помимо естественных чувств, диктовавших это сопротивление, великий урок был дан в самом начале царствования Людовика XVI, и память о нём, ещё свежая, имела достаточно силы, чтобы поддержать мужество самых слабых. Несмотря на четырёхлетнее существование, в ту эпоху видели, как всеобщее одобрение встретило падение парламента Мопу[60] и приветствовало возвращение тех, кто был столь сурово изгнан в предшествующие годы. Все люди, его составлявшие, сверх того, искупили весьма суровым образом вину своей покорности власти, ибо, спустя почти двадцать лет после этого события, общественное мнение, казалось, ещё преследовало их своей неприязнью. А ведь создание г-на де Бриенна и г-на де Ламуаньона, несомненно, не могло внушить больше доверия, чем создание г-на де Мопу, и нель-

зя было отрицать, что дело Парламентов в 1788 году было гораздо более популярным, чем в 1771 году.

Собрание духовенства присоединило свой протест к протесту дворянства. Именно в Бретани и затем в Дофине дворянство дало наиболее сильное выражение своим чувствам; вскоре пример, поданный дворянами этих провинций, был с не меньшей энергией повторён дворянами Бургундии, Франш-Конте, Лангедока и Беарна[61].

Тщетно королевские комиссары, военные командиры развёртывали в этих провинциях силы, бывшие в их распоряжении; тщетно *lettres de cachet* настигали наиболее строптивых — сопротивление росло. У правительства не осталось иного средства, чтобы успокоить умы, кроме возобновления обещания созвать эти столь горячо желанные Генеральные штаты.

Министры обнародовали 10 июля[62] эдикт, которым объявляли их созыв на следующий май. Они пригласили все корпорации и всех частных лиц подать свои мнения о наилучшем способе их составления, их учреждения. Напрасная слабость. Едва минул месяц со дня опубликования этого эдикта, как министерство, бессильное и потерявшее уважение, покинуло власть. Новый порядок судостроительства не мог установиться.

Оскудение Казначейства дошло до такой степени, что более не позволяло ни выполнять никаких обязательств, ни обеспечивать никакой службы, и пришлось приостановить многие платежи. Предвестие всех бед, какие должны были обрушиться на Францию: ужасный град опустошил самые плодородные провинции; был открыт заём, чтобы покрыть самые настоятельные нужды: сумма, которую принёс этот заём, была быстро израсходована. Г-н де Бриенн не побоялся нарушить столь священное доверие. Пришлось принести его в жертву общественному негодованию, и его отставка была решена в конце августа. Он уехал, осыпанный почестями, достоинствами, с уверением получить кардинальскую шапку, в ожидании же — один из богатейших бенефициев[63].

Г-н де Бриенн мог быть заменён лишь г-ном Неккером[64], чей личный кредит был безусловно необходим, чтобы справиться с первыми нуждами. Итак, г-н Неккер был вновь призван, несмотря на отвращение Короля.

Г-н де Ламуаньон тщетно предпринял несколько попыток, чтобы сохранить своё место в новой администрации: он должен был пасть вместе с г-ном де Бриенном, всю ответственность которого разделял, и удалился, согбенный под тяжестью королевских милостей. Ему было обещано герцогство для старшего сына, и, сверх обычной пенсии по отставке,

ему была назначена сумма в 400 000 франков в качестве возмещения: эта сумма была тогда единственной, какой королевское Казначейство могло располагать. Он потребовал половину наличными. Это пособие оказалось недостаточным, чтобы покрыть его долги; в отчаянии он покончил с собой в парке Бавиля[65].

Возвращение г-на Неккера к руководству делами, в столь критических обстоятельствах, было настоящим триумфом. Возвращение Парламента было не менее блестящим; оно было ознаменовано огнями, иллюминациями, словом, всеми свидетельствами народной радости, которая кое-где слишком уж походила на порывы победоносной фракции.

Последнее министерство имело неосторожность объявить, как мы видели, что не существует никакого правила для созыва, состава, устройства Генеральных штатов. Оно призвало всю Францию подать своё мнение по этому важному предмету.

Великий вопрос о пропорции, в какой три сословия должны быть представлены, господствовал над всеми другими. «Что такое третье сословие?» — восклицал г-н аббат Сьейес[66] в брошюре, произведшей тогда самое живое впечатление; и когда её прочли, обнаруживали, что третье сословие — всё или почти всё. Сам г-н Сьейес предвидел ли всю

значимость своей брошюры? Это позволительно оспаривать, когда видишь, как вскоре после того он столь решительно взялся защищать имущества духовенства; но он тем не менее указал пальцем на нездоровую часть общественного порядка, тем не менее коснулся великого вопроса эпохи — во Франции и вне Франции.

Среди этого брожения Парижский парламент счёл, что ему подобает установить правила, которых надлежит держаться. Он объявил постановлением, что формы, соблюдавшиеся при созыве Штатов в 1614 году[67], последних, какие были проведены, остаются и теми, какие должны соблюдаться, если не хотят ввергнуться в новшества, последствия которых невозможно исчислить.

Это решение, весьма неудачное для него, не соответствовало ни наиболее общему настроению в стране, ни, особенно, настроению влиятельного министра г-на Неккера. Тот созвал нотаблей, ранее собранных г-ном де Калонном, и велел объявить королевским эдиктом, что намерение Его Величества — проконсультироваться с ними по этому важному предмету.

Тотчас между Парламентом и министерством завязалась борьба, совершенно противоположная по роду тем, что были в предшествующие годы. Результатом было предоставить

людям более ловким случай, какого они ждали, чтобы уничтожить влияние, направление которого, как они хорошо понимали, не будет им принадлежать. Успех их манёвра был столь велик, что уже до конца 1788 года стало почти общепризнанным, что Парламент идёт вспять, что он покидает интересы нации, что он более не хочет Генеральных штатов.

В этом обвинении было верно то, что корпорация, представленная самой себе, предчувствовала близкую революцию и не хотела позволить думать, будто желает ей содействовать. Я прекрасно помню прения, какие были тогда проведены; они имели совершенно новый облик: больше не было ни увлечения, ни энтузиазма, ни усилий, ни эффектов красноречия; рассуждали холодно, казалось, будто некое мрачное покрывало простёрлось над собранием. Значение его было стёрто, о нём больше не думали, оно более никому не внушало почтения. Генеральные штаты представляли в слишком близком будущем, чтобы все мысли не были обращены к ним.

Я присутствовал при открытии Генеральных штатов и, несмотря на пышность, ещё окружавшую королевскую власть, увидел, как при мне испустил дух старый порядок.

Режим, предшествовавший 89 году, мне представляется, надлежит рассмотреть в двух отношениях: в отношении об-

щего положения страны и в отношении положения правительства к стране. В первом отношении я твёрдо убеждён, что с начала монархии Франция ни в какую эпоху не была счастливее, чем тогда. Никакое великое бедствие не давало себя чувствовать с падения системы Ло[68]. Долгое министерство кардинала де Флери[69], без сомнения, не славное, но мудрое, осмотрительное, возместило потери и облегчило тяготы, какие принёс конец царствования Людовика XIV; если же с той эпохи некоторые войны, неудачно предпринятые, ещё неудачнее ведённые, скомпрометировали извне честь его оружия и уважение к его правительству, если они даже довольно серьёзно расстроили его финансы, справедливо сказать, что беспорядок, из этого проистекший, скомпрометировал лишь состояние нескольких кредиторов и не достиг источников общественного благосостояния; напротив, то, что называют публичной администрацией, постоянно прогрессировало: если у Государства не было великих министров, у провинций были весьма просвещённые и весьма искусные интенданты[70].

Пути сообщения открылись во многих местах; повсюду они были сделаны более лёгкими. Невозможно не признать, что этим благотельным результатом Франция главным образом обязана царствованию Людовика XV. Его важнейшим следствием было постепенное улучшение в сельском хозяйстве.

Царствование Людовика XVI благоприятствовало этому счастливому импульсу, которого не остановила морская война, предпринятая за независимость Америки. Видели, как возводятся многочисленные хлопчатобумажные фабрики, набивка тканей сделала огромные успехи; то же было с выделкой кож и стали.

Эти успехи, впрочем, поощрялись успехами естественных и точных наук. Уже химия позволяла предвидеть помощь, какую она вскоре окажет всем прикладным искусствам; Лавуазье, Бертолле, Фуркруа[71] и их ученики вступали на это поприще, где шли гигантскими шагами. Революция убила Лавуазье, но его коллеги, пережившие его и оказавшие столь великие услуги, сформировались, как и он, в царствование Людовика XVI, которому и принадлежали: этот монарх уделял большое внимание их работам; он также всеми силами покровительствовал сельскому хозяйству: уже ему оно было обязано введением мериносов, этой столь драгоценной породы, которая так обогатила наших земледельцев и наших суконных фабрикантов. Он учредил опытные фермы: таким образом он предлагал одновременно теорию и применения. В столице строили, в деревнях возводили здания. Иностранцы стекались в Париж; там царила элегантная роскошь, никогда не превзойдённая.

Я видел императорские великолепия, я вижу каждый день, с Реставрации[72], как устанавливаются и возвышаются новые состояния, ничто ещё не сравнялось в моих глазах с великолепием Парижа в годы, протёкшие со времени заключения мира в 1783 году до 1789 года. Восхитительные жилища возводились в квартале Маре и на острове Сен-Луи[73]. Что такое предместье Сен-Жермен[74] сегодня по сравнению с предместьем Сен-Жермен тогда? И что до внешней роскоши, для тех, кто помнит день смотра, скачек в Лоншане[75] или лишь вид бульвара, насколько толпа двух-, четырёх- или шестиконных экипажей, все более великолепных один другого, запружавшая эти людные места, оставляет далеко позади себя эту вереницу карет, наёмных экипажей, смешанных с несколькими элегантными колясками, — и какими пространствами они заполнены сегодня?

Я далёк от того, чтобы закрывать глаза на то, что есть подлинного в общественном благосостоянии, каким мы пользуемся; я знаю, что приобрели наши деревни; мне неизвестно, что то, что покоится на этой прочной основе, даже с более скромной внешностью, гораздо предпочтительнее более великолепной внешности, которая покрывала бы менее обеспеченное основание. Я не хулигель настоящего времени, отнюдь; я допускаю, что результаты Революции могут иметь преимущества во многих отношениях: это разделение собственности, столь часто оспариваемое и которое — пока

не перейдёт известных границ — должно умножать богатства, внося достаток во множество семей, где он был неведом; но всё же, когда я вопрошаю свой разум и свою совесть о том, какой была бы Франция 1789 года, если бы Революция не разразилась, если бы десять лет разрушения, ею порождённые, не тяготели над этой прекрасной страной, если бы Сан-Доминго[76], например, продолжал изливать на неё свои сокровища, если бы постепенные улучшения, какие я описал, не были остановлены великими катастрофами, я остаюсь убеждён, что Франция без революции была бы в момент, когда я пишу, ещё богаче, ещё сильнее, чем она есть сегодня.

Ривароль[77], если не ошибаюсь, сказал о народах в положении, какое я только что описал: «Болезнь счастья их поражает». Лучше сказать было нельзя. Он не завершил своей картины, показав, как он должен был бы это сделать, каким образом эта болезнь поражает также правительства не менее опасным образом.

Каково же было тогда правительство Франции? То было уже не правительство древней феодальной монархии, где трон, окружённый своими могущественными вассалами, держал остальную нацию на столь большом расстоянии от себя, где власть, нисходящая с этого трона, внушала народным массам, даже промежуточным классам, уважение, какое

можно назвать суеверным; где государь мог иногда оказаться подверженным мятежам кого-либо из наиболее буйных среди этих крупных вассалов; где эти мятежи могли породить Лигу и Фронду, но где они всегда заканчивались каким-либо договором в пользу тех, кто сумел стать более грозным, — договором, расходы по которому, как и следовало ожидать, несла нация или страна.

Ришельё[78], а после него Людовик XIV обуздали эту буйность и сокрушили эти феодальные державы: здание, какое они составляли и поддерживали, было заменено зданием показного великолепия, парадной монархией, если можно употребить это выражение, в которой лишь Король оставался велик и приковывал все взоры. Людовик XIV, создав её по своей мерке, придал ей нечто от своего столь внушительного вида; несмотря на неудачи конца его царствования, несмотря на мелочность, какую явили последние годы его жизни, таково было престижное обаяние начала его царствования, что нельзя было ещё сказать, что оно стёрто в момент его смерти.

Королевская власть при Регентстве[79], при Людовике XV и при Людовике XVI переходила через столько слабых или неспособных рук, она была прежде всего подчинена столь многим придворным, даже будуарным интригам, что из этого должно было произойти весьма ошутимое уменьше-

ние уважения, без которого власть при монархическом правлении может обойтись менее легко, чем при всяком другом.

Администрация произвела благосостояние; правительство, напротив, породило революцию, под которой должно было погибнуть; и это правительство, однако, не было ни суровым, ни притеснительным. Всё, что в праве не было смягчено законами, было смягчено на деле обычаями и нравами. Собственность там была совершенно уважаема: для огромного большинства французов личная свобода существовала почти полностью; без сомнения, она не была неприкосновенной, ибо, несмотря на непрерывные представления Парламента, власть арестовывать, заключать в тюрьму, изгонять осуществлялась посредством *lettre de cachet*.

В последние годы царствования Людовика XV злоупотребления этой властью были тем многочисленнее и возмутительнее, что осуществлялись не только для торжества той или иной религиозной идеи, весьма мало достойной внимания сама по себе, но ещё и для удовлетворения ненависти, мести, капризов той или иной фаворитки государя, быть может даже министров, располагавших этим страшным оружием. Это отвратительное злоупотребление закончилось с Людовиком XV; с воцарением Людовика XVI тюрьмы, благодаря заботам г-на де Мальзерб, были открыты для государственных узников; в течение его царствования до 1787 года

употребление *lettre de cachet* было достаточно умеренным, так что можно было видеть в нём скорее нарушение принципа и оскорбление правосудия, чем реальный ущерб, нанесённый обществу. Даже это употребление чаще всего имело место лишь по ходатайству семей и для того, чтобы положить конец беспутству кого-либо из их членов. Знаменитый Мирабо[80] был заключён в Венсенн[81] по требованию своего отца.

Нельзя однако не отметить в 1785 году возмутительно-го злоупотребления этой способностью захватывать и произвольно задерживать граждан. Г-н де Бомарше[82], в разгар триумфа представлений его «Фигаро», был в тяжбе с лейтенантом полиции из-за предисловия, какое хотел поместить во главе издания своей пьесы; его обвиняли также в том, что он сочинил весьма язвительную песенку против послания архиепископа Парижского; он был арестован и в силу *lettre de cachet* отвезён в дом Сен-Лазар[83].

Парижский парламент видел, как среди полного собрания палаты были схвачены два его члена, немедленно переведённые в государственные тюрьмы; депутаты Бретани прибыли в Париж, чтобы принести к подножию трона представления своего сословия, — их мирно заключили в Бастилию.

Надлежит признать, что помимо нескольких лиц, чьи дей-

ствия были для правительства особым предметом раздражения, остальные граждане пользовались самой полной свободой на деле; говорили, писали, действовали с величайшей независимостью, даже бросали вызов власти с полной безнаказанностью. Печать не была свободна по праву, однако всё печаталось, всё распространялось с дерзостью. Самые серьёзные особы, даже магистраты, которые должны были бы обуздывать этот беспорядок, ему благоприятствовали. В их руках находили самые опасные сочинения, наиболее вредные для всякой власти. Если какое-либо доношение время от времени и поступало в Парламент от некоторых из их членов, более ревностных, более добросовестных, оно казалось почти смешным и чаще всего оставалось без последствий. Если кто-нибудь отрицает, что это была свобода, придётся по крайней мере согласиться, что это была вольность.

Что до повседневного действия местных властей на граждан — действия столь раздражающего и от которого мы все за тридцать лет столько раз страдали, — оно было незаметным, почти неизвестным. То, что оставалось от феодальной власти, было почти что словом без смысла; она мало-помалу слилась с властью короны.

Были, конечно, ещё денежные права, принадлежавшие феодам на зависимые от них владения, но это была собственность, как и всякая другая, которой могли владеть как ротю-

рье[84], так и дворяне; власть сеньоров над личностью вассалов существовала лишь в романах: своего рода обязанность покровительства по отношению к этим вассалам была почти всем, что сеньоры сохранили от прежней феодальной власти.

Людовик XVI при своём вступлении на престол довершил уничтожение того, что ещё оставалось чрезмерного в осуществлении этой власти. Итак, между дворянством и другими гражданами, как и между этими гражданами и духовенством, оставался лишь один спорный вопрос — о денежных привилегиях и о преимуществе для этих двух первых сословий не быть облагаемыми ни по форме, ни по размеру, как облагалось последнее.

Влияние духовенства не тяготело над отдельными лицами намного сильнее, чем влияние дворянства: то, что только что было даровано протестантам в отношении их гражданского состояния, не встретило никакого препятствия со стороны церковной власти — ничто лучше не доказывало, до какой степени она стала терпимой. Высшее духовенство разделяло то, что называли просвещением века. Что до кюре[85], воздействовавших на народ, то это было для того, чтобы расточать ему свои отеческие заботы и лучшую часть своих доходов.

Откуда же шла эта страсть к реформам, эта потребность

всё изменить, проявившаяся в конце восемнадцатого века? Она происходила более от великого движения в идеях, чем от реальных страданий; так много читали, так много рассуждали о политических вопросах, что всё было поставлено под вопрос. Верховная власть была особенно затронута, и двор Людовика XVI не сумел восстановить престиж королевского величия, даже во внешнем блеске, который весьма часто достаточен, чтобы внушить повиновение толпы.

Двор, скептический и развращённый, состоял из потомков самых знатных семей Франции, но также из выскочек, которым милость заменяла заслуги; высота их притязаний была обратно пропорциональна их достоинству, и их наглая спесь сделала их ненавистными.

Праздность, нужда в деньгах породили многочисленные скандалы; «Мемуары» того времени полны ими и избавляют меня от необходимости настаивать; к несчастью, в такой стране, как Франция, Двор не развращается один: издавна связи между версальским двором и Парижем были слишком частыми, слишком близкими, чтобы пример одного не был всемогущ над другим.

Сказать ли, сколько разорительных последствий причинили в семьях наглые роскошества, выставлявшиеся напоказ в публичных местах? Если бы я пустился в анекдотиче-

ские рассказы, мне пришлось бы написать сатиру. Достаточно сказать, что, когда я вступил в свет, меня представили, так сказать, параллельно и к законным жёнам, и к любовницам моих родственников, друзей моей семьи, проводя вечер по-недельника у одной, вторника — у другой; а мне было всего восемнадцать лет, и я был из судейской семьи!

Дух безрелигиозный, фрондёрский и философский, непонятное увлечение всеми утопиями, всеми химерами, падение нравов, главное же — утрата уважения к вековым установлениям, старым семейным традициям — благоприятствовали развитию страстей, которые вскоре должны были увлечь навсегда старое французское общество, старый порядок.

Созыву Генеральных штатов предшествовали народные мятежи, вызванные парламентскими распрями столь злополучным образом: сначала в Париже, затем в различных частях королевства: им попустительствовали в течение двух лет магистраты, которые должны были бы их подавлять.

Один из самых серьёзных произошёл в предместье Сент-Антуан против фабриканта обоев по имени Ревельон[86], чьё заведение было сожжено. Эта народная сцена заслуживает того, чтобы на ней остановиться, ибо она, очевидно, послужила подготовке средств, которые немного позже обес-

печили триумф восстания 14 июля. Я видел её совсем близко; она застигла светское общество Парижа среди удовольствий на скачках в Венсеннском лесу. Как только событие там стало известно, каждый поспешил вернуться в Париж, стараясь избежать грозного предместья. Один из молодых людей, с которыми я находился, упрямо решил проехать через него[87]. Нас было трое или четверо, кто не захотел его покинуть. Мы были верхом, и мы счастливо вышли из нашего отважного предприятия по прихоти, которая пришла в голову такому же числу самых оборванных из мятежной банды — усесться на круп наших лошадей. Эти странные спутники доставили нас благополучно до бульвара, где нас оставили. Этот мятеж был, очевидно, искусственным; несчастные, в нём участвовавшие, не знали ни чего хотели, ни что делали, и было ясно, что их ярость была по заказу.

Я находился ещё в пять часов вечера на бульварах, когда две или три роты швейцарской гвардии[88] и французской гвардии[89] прошли там, направляясь против предместья с тремя или четырьмя пушками, с горящими фитилями. Они вскоре положили конец этому беспорядку. Это был первый случай, когда военная сила, вооружённая пушками, была применена в наше время в Париже. Это зрелище произвело большое впечатление. Тогда мало предвидели, до какой степени придётся к нему привыкнуть. Как видно, французская гвардия была ещё верна, но опыт этой верности послу-

жил предостережением для партии, работавшей на революцию. Она признала, что настало время заняться духом этого корпуса, и все знают, что из этого вышло.

Итак, Генеральные штаты открылись с этими грозными предварительными условиями, и всё предвещало на близкое будущее большие трудности. Как можно было, в самом деле, предположить, что люди, не способные вести дела со всеми ресурсами столь долго неоспоримой власти, окажутся более удачливыми или более искусными перед лицом собрания из тысячи двухсот членов, в котором самые противоположные интересы и амбиции должны были столкнуться?

Единственный вопрос, по которому предстояло прийти к согласию, заключался в необходимости ниспровергнуть всё существующее. Первая разрушенная иллюзия была та, что связывалась с влиянием, оказываемым Неккером. Я слышал чтение объёмистого доклада, в котором он полагал, что начертал Генеральным штатам их путь и продиктовал их правило поведения. Едва заседание было закрыто, как доклад уже был забыт; никто о нём не говорил.

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

[1] ****Парижский парламент (Parlement de Paris).**** Высший судебный орган Франции при Старом порядке; не путать с английским парламентом. Парижский парламент был также Палатой пэров (Cour des pairs) и обладал правом регистрации королевских эдиктов, что давало ему значительные политические возможности. Включал большую палату (grand'chambre), следственные палаты (enquêtes), палату прошений (requêtes) и другие. Упразднён в 1790 году.

[2] ****Собрание нотаблей (Assemblée des notables).**** Собрание представителей знати, духовенства и высших должностных лиц, созывавшееся королём для консультации по важным государственным вопросам. Собрание 1787 года, созванное Калонном, включало 144 члена; оно отвергло большинство его предложений.

[3] ****Калонн, Шарль-Александр де (Charles-Alexandre de Calonne, 1734–1802).**** Французский государственный деятель, генеральный контролёр финансов в 1783–1787 гг. Провёл ряд реформ, направленных на преодоление финансового кризиса; созвал собрание нотаблей 1787 года, которое отвергло его проекты. Эмигрировал в 1787 году, вернулся во Францию при Наполеоне.

[4] ****Повелительные грамоты (lettres de jussion).**** Акты королевской власти, предписывавшие судебным палатам

зарегистрировать эдикт или ордонанс, отклонённый ими. Крайней мерой принудительной регистрации было лит-де-жюстис (см. прим. [40]).

[5] **«Двадцатины» (vingtièmes).** Прямой налог, введённый в 1749 году; составлял одну двадцатую (5 %) от доходов с земли, имущества и промыслов. Существовали несколько «двадцатин», что увеличивало реальную ставку. Один из наиболее критикуемых налогов Старого порядка.

[6] **Земельная субвенция (subvention territoriale).** Проект прямого налога на все земли, включая церковные, в равной пропорции; должен был заменить «двадцатины». Отвергнут собранием нотаблей.

[7] **Личная барщина (corvée personnelle).** Обязательная трудовая повинность крестьян на строительстве и ремонте дорог; одна из наиболее ненавистных повинностей Старого порядка. Отменена в 1787 году с заменой денежной повинностью.

[8] **Провинциальные собрания (assemblées provinciales).** Органы местного самоуправления, учреждённые в 1787 году в провинциях, не имевших сословных штатов; должны были распределять налоги и заведовать общественными работами.

[9] ****Собственные штаты (états particuliers).**** Сословно-представительные собрания в некоторых провинциях Франции (Бретань, Лангедок, Бургундия, Дофине, Прованс и др.), сохранившиеся от Средневековья.

[10] ****Лафайет, Жильбер дю Мотье, маркиз де (Gilbert du Motier, marquis de Lafayette, 1757–1834).**** Французский генерал и политический деятель, участник Войны за независимость США. В 1787 году — член собрания нотаблей, где потребовал отмены *lettre de cachet*, восстановления гражданских прав протестантов и созыва Генеральных штатов. В 1789–1791 гг. — командующий национальной гвардией Парижа.

[11] ****Lettre de cachet.**** Королевский приказ о заточении или изгнании без суда и следствия; одна из наиболее одиозных форм произвола Старого порядка. В тексте перевода термин сохраняется по-французски как историческая реалия. При Людовике XVI употребление *lettre de cachet* значительно сократилось, но не было отменено.

[12] ****Фуркё, Мишель Бувар де (Michel Bouvard de Fourqueux, 1719–1789).**** Французский государственный деятель, генеральный контролёр финансов в 1787 году в течение нескольких месяцев между Калонном и Бриенном. Не

пользовался влиянием; его краткое министерство было лишь интермедией.

[13] **Бриенн, Этьен-Шарль де Ломени де (Étienne-Charles de Loménie de Brienne, 1727–1794).** Французский церковный и государственный деятель, архиепископ Тулузский (1763), затем архиепископ Сансский (1788), кардинал (1788). Генеральный контролёр финансов (1787–1788), главный министр. Провёл реформы, направленные на преодоление финансового кризиса; его попытка уничтожить парламенты вызвала широкое сопротивление. Ушёл в отставку в августе 1788 года. Умер в заключении при Терроре.

[14] **Главный министр (principal ministre).** В старой французской монархии — первый министр, возглавлявший королевский совет. После смерти Мазарини (1661) Людовик XIV не назначал главного министра; должность была восстановлена при Людовике XV (Флери) и фактически существовала при Людовике XVI.

[15] **Хранитель печатей (garde des sceaux).** Должностное лицо, ведавшее королевской печатью; фактически — министр юстиции. С 1787 года — Ламуаньон (см. прим. [16]).

[16] **Ламуаньон, Кретьен-Франсуа де (Chrétien-François de Lamoignon, 1735–1789).** Французский государственный

ный деятель, хранитель печатей с 1787 года. Пытался провести судебную реформу, уничтожавшую парламенты; его проект Полной палаты (*Cour plénière*) провалился. Покончил с собой в 1789 году. Не путать с его отцом, канцлером Ламуаньоном (1684–1772), и с Мальзербом (см. прим. [44]), который был его родственником.

[17] **Миромениль, Арман-Томас де (*Armand-Thomas Hue de Miromesnil*, 1723–1796).** Французский государственный деятель, хранитель печатей в 1774–1787 гг. Проводил умеренную политику; был заменён Ламуаньоном.

[18] **Канцлер (*chancelier*).** Высшее должностное лицо Франции при Старом порядке; канцлер возглавлял судебную систему, хранил государственную печать, председательствовал в королевском совете. Должность канцлера при Людовике XVI занимал Мопу (см. прим. [19]), затем — после его смерти в 1789 году — должность оставалась вакантной.

[19] **Мопу, Рене-Никола де (*René-Nicolas de Maupeou*, 1712–1789).** Французский государственный деятель, канцлер в 1768–1774 гг. Провёл реформу, уничтожившую старые парламенты и заменившую их новыми судебными учреждениями (1771); после смерти Людовика XV его реформа была отменена, старые парламенты восстановлены.

[20] **Мадемуазель де Ламуаньон.** Дочь или родственница хранителя печатей Ламуаньона; вышла замуж за наследника семьи д'Агессо (см. прим. [21]).

[21] **Д'Агессо, Анри-Франсуа (Henri-François d'Aguesseau, 1668–1751).** Знаменитый французский канцлер, юрист и писатель; его имя было символом судебной добродетели. Его наследники сохраняли высокое положение в магистратуре.

[22] **Гербовый сбор (édit du timbre).** Налог на гербовую бумагу, введённый эдиктом 1787 года; один из проектов Бриенна, вызвавших сопротивление парламентов.

[23] **Салье, Луи-Мари де (Louis-Marie de Sallier, 1736–1827).** Французский магистрат, советник Парижского парламента, автор мемуаров о событиях 1787–1789 гг. Упомянут Паскье как автор, подробно описавший прения между Двором и магистратурой.

[24] **Палата пэров (Cour des pairs).** Парижский парламент в качестве суда пэров Франции; в этом качестве в нём заседали герцоги и пэры, а также принцы крови. Это придавало парламенту особый политический вес.

[25] **Большая палата (grand'chambre).** Главная палата

Парижского парламента, рассматривавшая наиболее важные дела и осуществлявшая регистрацию королевских эдиктов.

[26] **Изгнание 1771 года.** Реформа канцлера Мопу (1771), уничтожившая старые парламенты; многие магистраты были изгнаны или ушли в отставку. После смерти Людовика XV (1774) старые парламенты были восстановлены.

[27] **Президенты с шапками (présidents à mortier).** Высшие должностные лица Парижского парламента; их головной убор — круглая шапка с золотым галуном (mortier) — был символом их достоинства. Они заседали на «большой скамье» (grand banc).

[28] **Сен-Фаржо, Луи-Мишель Лёпелетье де (Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, 1760–1793).** Французский политический деятель, президент с шапкой Парижского парламента, депутат Генеральных штатов и Учредительного собрания. Голосовал за казнь Людовика XVI; убит 20 января 1793 года.

[29] **Д'Алигр, Этьен-Франсуа (Étienne-François d'Aligre, 1727–1798).** Первый председатель Парижского парламента; известен своим умом и судейской опытностью, но его репутация была омрачена заботами о личном обогащении.

[30] **Ларошфуко, д'Аркур, Люин, д'Омон, Люксембург, Праслин.** Знатнейшие аристократические семьи Франции, представители которых заседали в Палате пэров и поддерживали сопротивление парламента.

[31] **Советник следственной палаты (conseiller des enquêtes).** Член одной из следственных палат Парижского парламента, рассматривавших апелляции и проводивших расследования; младшая по рангу должность в парламенте.

[32] **Янсенизм и молинизм.** Религиозные течения внутри католицизма; янсенизм — учение, осуждённое церковью, но популярное среди части французского духовенства и магистратуры; молинизм — учение иезуитов. Борьба между ними в XVII–XVIII вв. неоднократно вызывала политические конфликты; парламенты поддерживали янсенистов против королевской власти и иезуитов.

[33] **Трюден, Шарль-Гийом (Charles-Guillaume de Trudaine, 1733–1794).** Французский магистрат, советник Парижского парламента; казнён при Терроре.

[34] **Д'Эпремениль, Жан-Жак Дюваль (Jean-Jacques Duval d'Épréménil, 1745–1794).** Французский магистрат, советник Парижского парламента, один из лидеров парламентской оппозиции. Арестован в 1788 году, заключён в

Сен-Мишель; казнён при Терроре.

[35] ****Сабатье, аббат.**** Французский церковный деятель, советник Парижского парламента, связанный с герцогом Орлеанским; арестован в 1788 году.

[36] ****Герцог Орлеанский, Луи-Филипп II (Louis-Philippe II, duc d'Orléans, 1747–1793).**** Французский принц крови, двоюродный брат Людовика XVI; известен как Филипп Эгалите. В 1787 году поддержал парламентскую оппозицию; изгнан в Виллер-Котре. В эпоху Революции — один из лидеров левых; голосовал за казнь короля; сам казнён при Терроре.

[37] ****Ферран, Антуан-Франсуа (Antoine-François Ferrand, 1745–1828).**** Французский магистрат, советник Парижского парламента; составитель ремонстраций. Впоследствии эмигрировал.

[38] ****Ремонстрации (remontrances).**** Официальные представления парламента королю, выразившие несогласие с эдиктами или ордонансами. Право ремонстраций было важным элементом парламентской оппозиции.

[39] ****Труа (Troyes).**** Город во Франции к юго-востоку от Парижа; место «ссылки» Парижского парламента в 1787 году.

[40] **Лит-де-жюстис (lit de justice).** Особая процедура принудительной регистрации королевских эдиктов в присутствии короля; отличалась от обычного королевского заседания (séance royale) тем, что король лично председательствовал и повелевал внести акт в реестр.

[41] **Виллер-Котре (Villers-Cotterêts).** Город во Франции к северо-востоку от Парижа; место изгнания герцога Орлеанского.

[42] **Сабатье и Фрето.** Советники Парижского парламента, арестованные в 1787 году за выражение мнений, разрешённых королём. Фрето, Жан-Жак (Jean-Jacques Fréteau de Saint-Just, 1745–1794) — французский магистрат, казнён при Терроре.

[43] **Робер де Сен-Венсан.** Советник Парижского парламента; избежал ареста благодаря личной воле Людовика XVI.

[44] **Мальзерб, Кретьен-Гийом де Ламуаньон де (Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, 1721–1794).** Французский государственный деятель, автор эдикта о гражданском состоянии протестантов (1787). Защитник Людовика XVI на процессе (1792–1793); казнён при Терро-

ре.

[45] ****Новый мост (Pont-Neuf).**** Старейший сохранившийся мост Парижа; в XVIII веке — место народных собраний.

[46] ****Басош (la basoche).**** Корпорация судебных писцов и молодых адвокатов при Парижском парламенте; в переносном смысле — судейская молодёжь.

[47] ****Зал «Потерянных шагов» (salle des Pas perdus).**** Зал в здании Парижского парламента, где ожидали посетители и где велись разговоры; получил название оттого, что там «теряли шаги» в ожидании.

[48] ****Кардинал де Рец (Jean-François Paul de Gondi, cardinal de Retz, 1613–1679).**** Французский церковный и политический деятель, один из руководителей Фронды; автор знаменитых «Мемуаров».

[49] ****Фронда (la Fronde, 1648–1653).**** Политическая смута во Франции, вызванная сопротивлением парламентов и знати усилению королевской власти; в переносном смысле — парламентская оппозиция.

[50] ****Бал в Опере.**** Балы в Парижской опере, популяр-

ные в XVIII веке; место встреч аристократии и высшего света.

[51] **Месье (Monsieur).** Титул старшего брата короля; при Людовике XVI — граф Прованский, будущий Людовик XVIII (1755–1824). В 1815 году Паскье был его министром.

[52] **Полная палата (Cour plénière).** Проект судебной реформы Ламуаньона (1788), предусматривавший создание единого судебного органа для регистрации королевских эдиктов, что должно было заменить парламенты. Проект провалился.

[53] **Морри, аббат (Jean-Siffrein Maury, 1746–1817).** Французский церковный и политический деятель, сотрудник Ламуаньона; впоследствии кардинал.

[54] **Гоислар де Монсабер, Шарль-Луи (Charles-Louis Goislard de Monsabert, 1755–1794).** Французский магистрат, советник Парижского парламента; арестован в 1788 году вместе с д'Эпременилем; казнён при Терроре.

[55] **Сен-Мишель (Mont-Saint-Michel).** Крепость и аббатство на острове у берегов Нормандии; использовалась как государственная тюрьма.

[56] ****Йерские острова (îles d'Hyères).**** Группа островов в Средиземном море у берегов Прованса; место ссылки государственных преступников.

[57] ****Большие баляжи (grands bailliages).**** Судебные округа, созданные реформой 1788 года вместо парламентов; должны были отправлять правосудие от имени короля.

[58] ****Тронный зал (salle du Trône).**** Зал Версальского дворца, где происходили торжественные королевские заседания.

[59] ****Шатле (Châtelet).**** Парижский судебный орган, рассматривавший гражданские и уголовные дела; важнейшая из низших магистратур Парижа.

[60] ****Падение парламента Мопу.**** Реформа 1771 года, уничтожившая старые парламенты; после смерти Людовика XV (1774) старые парламенты были восстановлены, а «парламент Мопу» упразднён.

[61] ****Бретань, Дофине, Бургундия, Франш-Конте, Лангедок, Беарн.**** Провинции Франции, где дворянство активно поддержало парламентскую оппозицию.

[62] ****10 июля 1788 года.**** В тексте Паскье — 10 июля;

исторически эдикт о созыве Генеральных штатов на май 1789 года был принят 5 июля 1788 года. Расхождение, вероятно, объясняется ошибкой памяти автора или опечаткой.

[63] ****Бенефиций (bénéfice).**** Церковная должность, приносящая доход.

[64] ****Неккер, Жак (Jacques Necker, 1732–1804).**** Французский государственный деятель и финансист женевского происхождения; генеральный контролёр финансов в 1777–1781 и 1788–1789 гг. Его возвращение к власти в 1788 году было встречено с энтузиазмом; уволен 11 июля 1789 года, что стало одним из поводов к взятию Бастилии.

[65] ****Бавиль (Basville).**** Имение Ламуаньона, где он покончил с собой в 1789 году.

[66] ****Сьейес, Эммануэль-Жозеф, аббат (Emmanuel-Joseph Sieyès, 1748–1836).**** Французский церковный и политический деятель, автор брошюры «Что такое третье сословие?» (1789). Депутат Генеральных штатов, Учредительного собрания, Конвента; участник переворота 18 брюмера.

[67] ****Штаты 1614 года.**** Последние Генеральные штаты перед 1789 годом; созваны Людовиком XIII. Формы их созыва были использованы как образец в 1789 году.

[68] **Система Ло (Law).** Финансовая система, введённая Джоном Ло (1671–1729) во Франции в 1716–1720 гг.; закончилась крахом и разорением многих вкладчиков.

[69] **Кардинал де Флери (André-Hercule de Fleury, 1653–1743).** Французский государственный деятель, главный министр при Людовике XV в 1726–1743 гг.; проводил политику мира и финансовой стабилизации.

[70] **Интенданты (intendants).** Королевские чиновники, управлявшие провинциями Франции; ведали сбором налогов, полицией, юстицией и общественными работами.

[71] **Лавуазье, Антуан-Лоран (Antoine-Laurent de Lavoisier, 1743–1794); Бертолле, Клод-Луи (Claude-Louis Berthollet, 1748–1822); Фуркруа, Антуан-Франсуа (Antoine-François de Fourcroy, 1755–1809).** Французские химики, основатели современной химии. Лавуазье казнён при Терро-ре.

[72] **Реставрация (Restauration, 1814–1830).** Восстановление монархии Бурбонов во Франции после падения Наполеона.

[73] **Квартал Маре и остров Сен-Луи.** Аристократи-

ческие кварталы Парижа; место строительства особняков в XVIII веке.

[74] **Предмесье Сен-Жермен (faubourg Saint-Germain).** Аристократический район Парижа на левом берегу Сены; центр светской жизни.

[75] **Лоншан (Longchamp).** Место в Булонском лесу, где устраивались скачки и прогулки; в Страстную неделю там происходил традиционный выезд экипажей.

[76] **Сан-Доминго (Saint-Domingue).** Французская колония на острове Гаити; в XVIII веке — главный источник сахара, кофе и других колониальных товаров, приносивший огромные доходы. В русской традиции принято написание «Сан-Доминго»; французское название — Saint-Domingue.

[77] **Ривароль, Антуан де (Antoine de Rivarol, 1753–1801).** Французский писатель и публицист, роялист; автор афоризмов и памфлетов.

[78] **Ришельё, Арман-Жан дю Плесси, кардинал де (Armand-Jean du Plessis, cardinal de Richelieu, 1585–1642).** Французский государственный деятель, главный министр Людовика XIII; укрепил королевскую власть, сокрушил могущество феодальной знати.

[79] **Регентство (Régence, 1715–1723).** Период правления Филиппа II, герцога Орлеанского, регента при малолетнем Людовике XV.

[80] **Мирабо, Оноре-Габриэль Рикетти, граф де (Honoré-Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau, 1749–1791).** Французский политический деятель и оратор; в молодости был заключён в Венсенн по требованию отца; в эпоху Революции — один из лидеров Учредительного собрания.

[81] **Венсенн (Vincennes).** Замок к востоку от Парижа; использовался как государственная тюрьма.

[82] **Бомарше, Пьер-Огюстен Карон де (Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, 1732–1799).** Французский драматург и предприниматель, автор комедий «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро». В 1785 году был арестован и заключён в Сен-Лазар.

[83] **Сен-Лазар (Saint-Lazare).** Дом в Париже, использовавшийся как тюрьма для лиц, задержанных по lettre de cachet.

[84] **Ротюрье (roturier).** Лицо недворянского происхождения; представитель третьего сословия.

[85] ****Кюре (curé).** Приходской священник; низшее духовенство, ближайшее к народу.

[86] ****Ревельон, Жан-Батист (Jean-Baptiste Réveillon, 1725–1811).** Французский фабрикант обоев (papier peint); его заведение в предместье Сент-Антуан было разгромлено в апреле 1789 года. Мятеж Ревельона стал одним из предвестников Революции.

[87] ****Примечание Паскье.** Этот молодой человек был г-н д'Ойямсон, чей трагический конец был отмечен тем, что он стал последним эмигрантом, расстрелянным во Франции за эмиграцию.

[88] ****Швейцарская гвардия (gardes suisses).** Наёмные войска из Швейцарии, служившие французской короне; отличались дисциплиной и верностью.

[89] ****Французская гвардия (gardes françaises).** Старейший полк французской армии; в июле 1789 года большая часть солдат перешла на сторону восставших.

Глава 3

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Советник Паскье при взятии Бастилии, а также мадемуазель Конта, из театра «Комеди-Франсез». — Театр как школа юности. — Премьера «Фигаро» Бомарше. — Успехи Гретри в «Опера-Комик». — Следующий день после 6 октября в Тюильри; облик Короля и Королевы. — Состояние умов в 1789 году. — Роялистские настроения национальной гвардии. — Клуб Валуа. — Пагубная бесполезность первой эмиграции. — Бегство королевской семьи в Варенн. — Живое беспокойство, вызванное в Париже отъездом Короля. — Характер г-на де Сен-Фаржо: его ненависть, его флегма, его неистовство. — Окончательный роспуск Парламентов. — Новый судебный порядок. — Протест старой магистратуры. — Конец Учредительного собрания. — Декреты против эмигрантов, против священников. — Разграбление парижских бакалейных лавок. — Первое появление красного колпака.

Я присутствовал при взятии Бастилии[1]; то, что называли «боем», не было серьёзным, сопротивление было совершенно ничтожным. В крепости не было ни продовольствия, ни боеприпасов; не понадобилось даже её осаждать.

Полк французских гвардейцев[2], взявший на себя атаку, показался со стороны улицы Сент-Антуан[3], перед главными воротами, закрытыми подъёмным мостом. Раздалось несколько ружейных выстрелов, на которые не ответили, и четыре или пять пушечных выстрелов. Утверждали, будто один из этих пушечных выстрелов перебил цепи подъёмного моста; я этого не заметил, хотя находился совсем близко от места атаки. Зато я прекрасно видел, как солдаты — инвалиды[4] и другие, — выстроившиеся на площадке высокой башни, поднимали вверх приклады своих ружей и всеми обычными в таких случаях знаками выражали желание сдаться.

Известны последствия этой мнимой победы, осыпавшей столькими милостями мнимых победителей; правда же в том, что этот великий бой ни на мгновение не устранил многочисленных зрителей, сбежавшихся, чтобы увидеть его исход. Среди них было много весьма элегантных женщин: чтобы легче было приблизиться, они оставили свои экипажи поодаль.

Я опирался на край решётки, замыкавшей со стороны площади Бастилии[5] сад, тянувшийся вдоль дома Бомарше[6] и на котором он несколько дней спустя велел сделать надпись: «Сей малый сад был насажен в первый год свободы». Ря-

дом со мной стояла мадемуазель Конта[7] из «Комеди-Франсез»[8]; мы оставались до развязки, и я довёл её под руку до экипажа, стоявшего на Королевской площади[9]. Прелестная в высшей степени, мадемуазель Конта соединяла с изяществом своей особы и своим восхитительным дарованием один из самых блистательных умов. Что до остроумия, неожиданных выходок, я знал лишь г-жу де Сталь[10], которая могла бы с ней в этом соперничать.

Г-жа де Куаньи[11], имевшая в этом роде весьма заслуженную репутацию, не превосходила её; полагаю, даже не была ей равна. Не помню, как именно, но отношения между ними были частыми, они часто переписывались, и когда встречались на выходе из спектаклей, г-жа де Куаньи никогда не упускала случая подойти к мадемуазель Конта и сказать ей несколько любезных слов.

В «Комеди-Франсез» её ложа, обставленная с величайшей изысканностью, всегда была окружена выдающимися мужчинами, какие были в зале. То же повторялось и вечером в её салоне. Так, среди придворных бывали: г-н де Нарбонн[12], виконт де Сегюр[13], маркиз де Шовлен[14], г-н де Лозен[15], г-н де Сен-Бланкар[16], Аршамбо де Перигор[17]; среди литераторов: аббат Делиль[18], Шамфор[19], Бомарше[20], Коллен д'Арлевиль[21], Виже[22], Дефошере[23].

Как всегда бывает в подобных обстоятельствах, женщины, бывавшие у неё, не принадлежали к столь же высокому кругу; мадемуазель Рокур[24] и ведущие актрисы «Театр-Франсез»[25] приходили туда иногда, как и прославленные актёры: Моле[26], Флери[27], д'Азенкур[28] и Тальма[29] — до того момента, пока Тальма не покинул «Комеди-Франсез», чтобы перейти в театр Пале-Рояля[30].

Мадемуазель Конта выделялась в этом блестящем обществе совершенной непринуждённостью и правильностью манер. Всё в ней указывало на бесспорное превосходство; видя, как естественно она чувствовала себя в этом блестящем обществе, где встречалось много поистине выдающихся людей, я часто говорил себе, что нечего удивляться изысканной непринуждённостью и пикантной живости, с какими она играла Селимену[31].

Театр занимал большое место в общественной жизни той эпохи: три раза в неделю играли шедевры французской сцены. Все, кто занимал высокое положение при Дворе и в свете, соперничали за места; в антрактах собирались в фойе. Завсегдатаи предавались обсуждениям, самым оживлённым комментариям; старые традиции, как и новые идеи, имели своих защитников; для молодёжи это была превосходная школа. Я редко пропускал какое-либо представление. Так я в течение

двух лет, немало забавляясь, прошёл курс театральной литературы.

Я был на премьере «Фигаро»[32] Бомарше; это было самое блистательное представление. Стремление попасть на него было таково, что несколько женщин самого высокого ранга провели ночь, предшествовавшую ему, в ложах актрис. Пьеса была запрещена полицией, запрет был снят по настояниям Королевы. Дворянство и Двор тем самым сами навлекли на себя самые грозные удары критики и самые язвительные нападки.

Правда в том, что политическую часть «Фигаро» и её столь важные для будущего последствия в первый момент меньше всего замечали: думали только развлекаться; остроумие, расточаемое щедрой рукой, игра актёров (быть может, никогда ещё не бывало такого замечательного сочетания талантов), совершенство постановки — всё способствовало неслыханному успеху, продержавшемуся более ста представлений.

В «Опера-Комик»[33] большой успех выпал на долю Гретри[34]; «Ричард Львиное Сердце»[35] привлёк весь Париж, и романс Блонделя[36]:

«О Ричард, о мой Король! Вселенная тебя покидает!»

вскоре стал песнью верных служителей короля, более достойного сострадания, чем Ричард, и более, чем он, — их любви, их жалости и их преданности; но близится момент, когда эта жизнь оборвётся; её грубо разобьёт Революция, которая унесёт навсегда не только политическое устройство, освящённое веками славы, но и общество, чьи нравы, ум, тонкость оказали столь великое влияние в Европе.

За взятием Бастилии и сопровождавшими его сценами ужаса последовали дни октября.

Через два дня, идя по улице Ришельё, запруженной огромной толпой, не зная, что собрало эту толпу, и желая из неё выбраться, я едва не упал, задев ногой тело г-на Фулона[37], лежавшее в сточной канаве, — я его не заметил. То была остановка для орды, тащившей таким образом этот труп часть дня. На следующий день я увидел на Гревской площади[38] кабриолет, у которого был сорван верх и в котором находился несчастный Бертье[39], которого через шесть минут уже не стало. Наконец, при въезде Короля в столицу я следовал за ним от заставы до того места, где под сводом штыков и обнажённых шпаг его ввели в Ратушу[40].

Случай заставил меня присутствовать при открытии Штатов[41] вместе с молодым человеком, чьё имя приобрело

довольно громкую известность. Это обстоятельство установило между нами отношения, которые впоследствии имели некоторое значение. То был сын богатого бордоского негодичанта; звали его Дюко[42]. В 1791 году он был депутатом Законодательного собрания[43], а затем Конвента[44]. В 1789 году он уже несколько месяцев жил в Париже, после довольно долгого пребывания в Голландии, во время которого ему довелось внимательно наблюдать борьбу, приведшую к торжеству оранжистов[45] над республиканцами.

Он сильно привязался к побеждённой партии и к принципам этой партии. Немногих людей я знал, которые соединяли бы столь блистательный ум, столь живое воображение — и при этом столь приятный характер.

После нашей первой встречи и благодаря некоторым общим знакомым мы виделись довольно часто в те месяцы, что прошли между открытием Собрания и 6 октября. События, происшедшие у нас на глазах в этот промежуток, произвели на нас почти одинаковое впечатление. Они довершили моё превращение в того, кого называли «аристократом», и почти толкнули Дюко на тот же путь, несмотря на его первоначальную склонность; но он уехал в Бордо, нашёл там знакомых, возвративших его к прежним идеям, и стал тем, кого называли «патриотом».

Общее впечатление от ужасов 6 октября, оставшееся во мне, стало ещё сильнее от зрелища, которое я вынес, исполняя печальную обязанность. На следующий день после того, как королевскую семью привезли в Тюильри[46] как пленников, Парламент[47], по старому обычаю, должен был предстать перед ней, чтобы её приветствовать. Очень немногие члены этой корпорации находились в Париже, и я был из того малого числа, какое первому председателю удалось удержать вокруг себя. Следы насилия, бросавшиеся в глаза, беспорядок этого дворца, мрачный и удручённый вид слуг, надменный и торжествующий вид людей, которые под командой г-на де Лафайета[48] овладели охраной замка и сквозь ряды которых нам пришлось пройти, — всё это ещё слабо подготовило нас к душераздирающему зрелищу, какое нас ожидало, когда нас ввели к нашим несчастным государям. Казалось, что в течение десяти дней на них обрушилось десять лет.

На лице Короля лежала печать покорности; он понимал, что его бедствия не достигли своего предела. В скорби Королевы было нечто более твёрдое, и сквозь него пробивалось негодование. Она держала сына на коленях, и, несмотря на всё мужество, которое она проявила за последние сорок восемь часов, невольно думалось, что в этом сыне она ищет защиту. Когда она нас приняла, по её глазам было легко прочесть, что в нашем взгляде она видела, насколько печальны

были поздравления, которые мы приносили, как противоречили они нашим чувствам! Как тяжело нам было произносить эти банальные фразы, освящённые обычаем во времена счастья, и не иметь возможности произнести другие!

Волнение, которое вызвала во мне эта сцена, было и глубоким, и долгим: всё привлекательное во мне и всё сочувствие к свободе — мудрой и упорядоченной законами — исчезало при виде этого горестного зрелища, которое меня возмущало. С каждым днём во всех формах множились бедствия, расхищения, преступления; мои чувства были оскорблены, ничто из того, что я привык чтить, не уважалось; я не был ни достаточно легкомыслен, чтобы отвлечься от этого зрелища, ни достаточно стойким, чтобы рассматривать его как необходимое условие великого будущего, ожидавшего возрождённую Францию.

Да не допустит Бог, впрочем, чтобы я сегодня стал отрицать искренний и, без сомнения, законный энтузиазм, овладевший в ту эпоху многими возвышенными душами и благородными сердцами. Я спешу признать, что этот энтузиазм должен был быть очень заразительным, ибо в 89, 90 и 91 годах огромное большинство французов, несомненно, было на стороне революции — своими чувствами, склонностями и желаниями.

1789 год увидел исчезновение сладости той общественной жизни, которая так долго составляла очарование Франции. Политические распри, яростные обсуждения, страсти возмутили общество и вскоре рассеяли его составные части. Нельзя было бы понять нравы той эпохи, не зная, сколько женщин были охвачены этими страстями. Их власть обычно проявлялась в оттенке кокард, в господствующем цвете. Особенно это касалось мундира национальной гвардии[49], принятие или неприятие которого было самым характерным признаком умонастроений.

В первые моменты национальная гвардия представлялась роялистам лишь орудием восстания. Парижская национальная гвардия была приведена в Версаль 6 октября г-ном де Лафайетом, и, хотя нельзя было вменить ей в вину злодеяния этой ужасной памятной ночи — напротив, она остановила их ход, — она тем не менее привезла Короля с триумфом в Париж — и с каким триумфом! Неприязнь, которую вызывал Лафайет, распространялась и на парижскую национальную гвардию. Однако, судя по тому, что я видел с тех пор, я несколько не сомневаюсь: если бы командование этой гвардией досталось другому человеку, а не г-ну де Лафайету, всё могло бы пойти иначе. Лафайет почти никогда не умел сделать из неё ничего, кроме парадного инструмента, инструмента своего тщеславия, и сумел по-настоящему сплотить её лишь в тот момент, когда собирался сложить с себя командование.

Если бы, например, во главе её оказался г-н де Буйе[50] или человек его закалки, гвардия, быть может, повернула бы дела совсем иначе и могла бы даже сделать Короля независимым от мятежа его армии.

Мне довелось оценить эту гвардию, хотя я в ней не состоял. Вот как: у меня был дядя, человек, добрее которого не бывало, и весьма мало расположенный к Революции; он был администратором почт и принял командование батальоном своего квартала — того же, где жил и я. Полагаю, что г-н д'Уаньи[51], генеральный интендант почт, дал ему этот приказ от имени Короля. Как бы там ни было, он в конце концов привязался к этому командованию, и, поскольку он жил с моей семьёй, все, кто занимал сколько-нибудь важное положение в его батальоне, бывали у нас в доме.

Итак, я постоянно находился среди этих господ, мы разговаривали, обсуждали, даже спорили. Сначала они были довольно недовольны мной за то, что я не хотел ни гренадерской шапки, ни даже командования ротой; но в конце концов мы остались в довольно хороших отношениях, и я должен признать, что через полгода они были почти такими же роялистами, как и я. С тех пор они выказывали себя роялистами при всех режимах, особенно 10 августа 1792 года[52]. Поэтому немалая часть их сложила голову на эшафоте во времена Террора[53]. А ведь следует заметить, что этот батальон был

сформирован в одном из самых оживлённых торговых кварталов Парижа и прекрасно представлял мнение буржуазии этого города: почти все остальные были к концу 1790 года в тех же настроениях, и все, почти без исключений, были бы заодно с ними, если бы вместо беспрестанных насмешек над национальной гвардией её откровенно приняли, — если бы, например, Королева решилась выразить ей искреннее доверие.

Несмотря на мои роялистские мнения, свойственная мне лёгкость характера, которая никогда меня не покидала, заставляла меня — вопреки упрёкам, на которые я слишком часто давал повод, — жить по-прежнему в довольно добром согласии с некоторыми людьми иного мнения, чем я. Я направлял довольно многих в клуб, который называли Валуа[54], единственный, быть может, где сходство мнений не было строгим условием допуска. Этому обстоятельству я обязан тем, что немного больше смотрел на обе стороны вопроса, постоянно читал газеты всех мнений, получил таким образом уже в ту эпоху некоторые уроки политической терпимости и, наконец, понял, что можно, не будучи злодеем, человеком, достойным виселицы, — имея ум, прямое сердце и достойный характер, — судить о политических делах иначе, чем я. С тех пор я также проникся отвращением к тем грубым, даже оскорбительным шуткам, которые слишком часто были нашей, аристократов, забавой. Часто я во-

очию убеждался в их несправедливости и всегда мог судить о вреде, какой они причиняли.

Надо ещё признаться, что, оставаясь убеждённым, что мы защищаем правое дело, я не мог не признавать, что у наших противников больше сдержанности, больше ловкости, чем у нас. Многие из нас усвоили систему (я, по крайней мере, не разделял их заблуждения), что для того, чтобы прийти к лучшему, нужно пройти через худшее. Эта ложная идея направляла большую часть правой стороны Учредительного собрания[55]. Я часто присутствовал на его заседаниях, слишком часто видел его прискорбное зрелище. Всё или почти всё делалось тогда в партии, противоположной Революции, по увлечению, и ничто — по разумению.

Кто, например, рассуждал об эмиграции[56]? Часто задавались вопросом, как было принято столь необыкновенное решение; как могло прийти в голову людям, наделённым кое-каким умом, что выгодно покинуть все посты, где ещё осуществлялась власть; оставить своим врагам полки, которыми командовали, места, губернаторами которых были, полностью отдать крестьян во власть внушений противоположной партии, — крестьян, на которых во многих провинциях можно было ещё оказать полезное влияние, среди которых было ещё много друзей; и всё это — чтобы вернуться завоёвывать острием шпаги позиции, часть которых по

крайней мере можно было сохранить без боя.

Без сомнения, можно было сказать, что крестьяне жгут замки, что солдаты восстают против своих офицеров. Это не соответствовало тому, что называли первой эмиграцией, по крайней мере всё это не было всеобщим; но разве опасность — достаточное основание, чтобы покинуть важный пост? Не верно ли даже, что эта опасность, большая в первые моменты, значительно уменьшилась именно тогда, когда эмиграция приняла наибольший размах? На всё это что ответить? Ничего иного, кроме следующего: добровольная эмиграция почти всего дворянства Франции, многих магистратов, которым никогда не суждено было обнажить шпагу, наконец, большого числа женщин и детей, — это решение, беспримерное в истории, не было задумано, обсуждено как государственная мера; оно родилось случайно: несколько человек сначала последовали за принцами, вынужденными 14 июля искать безопасности вне Франции. Те призвали других. Сначала речь шла лишь о приятном путешествии. Вне Франции было удовольствие говорить всё, верить всему без противоречий; ничто не стесняло в анафемах против Революции, почти всюду находили людей, говоривших как вы. Самые богатые начали нести расходы этого путешествия, и несколько блистательных и милых придворных дам способствовали тому, что пребывание в нескольких иностранных городах на границе стало весьма привлекательным.

Мало-помалу эти маленькие собрания разрослись, тогда подумали извлечь из них пользу. В голову нескольким людям, стоявшим вокруг г-на графа д'Артуа[57] и руководимым главным образом г-ном де Калонном[58], пришло, что им будет легко создать своему принцу французское королевство вне Франции, что, если им не удастся таким образом заставить его царствовать над провинциями, он по крайней мере будет царствовать над людьми; что это будет средством придать ему значение в глазах иностранных держав и склонить их принять его дело.

Женщины ссылались на долг и честь, грозили непокорным неизгладимым осмеянием и, в довершение всего, посылали им прялки[59], мня себя ученицами святого Бернара Клервосского[60], проповедовавшего новый крестовый поход. Но крестоносцы святого Бернара шли завоёвывать чужую землю и не отправлялись, чтобы вернуться и завоевать свою.

Итак, в 89, 90 и 91 годах: для некоторых — реальная опасность, которой надо избежать; для весьма немногих — подлинный энтузиазм; для многих — вопрос чести, которому они повиновались, не обсуждая его; для огромного большинства — мода, хороший тон; для всех или почти всех — надежды, поддерживаемые самыми безрассудными письма-

ми и происками нескольких честолюбцев, полагавших, что возводят здание своего состояния; вот что увлекло эту массу, столь доверчивую тогда, столь достойную сожаления впоследствии, лучшая часть которой своим мужеством и покорностью почтила своё несчастье на чужбине, но чьи бедствия тем не менее тяжким грузом постоянно лежали на Франции и до сих пор причиняют ей внутренний недуг, от которого она будет страдать ещё долго.

Король порицал поведение своих братьев, покинувших Францию и увлекших за собой столько людей, на преданность которых он хотел бы иметь возможность опереться. Он чувствовал, что их поведение усиливает подозрительность его врагов и, следовательно, делает ещё более грозными опасности, которые ему угрожали. Эмиграция, без сомнения, противоречила его прямоте и его разуму; имел ли он силу решительно ей воспротивиться?

Прискорбная легкость, с какой он изменял свои решения, противоречие, существовавшее между его словами и его действиями, никогда не было столь очевидно, как в печальном предприятии его бегства в Варенн[61]. Он объявил, покидая Париж, что не был свободен, что не мог более терпеть это незаконное и унижительное положение, — и два месяца спустя он санкционировал Конституцию и не имел мужества заявить, что санкция, если он её даёт, не может иметь

значения, пока ему не вернут по крайней мере видимость свободы. Он не был способен воспользоваться положением, которое поставило бы его врагов в крайнее затруднение.

Я видел, какое действие произвела в Париже эта новость в течение двадцати четырёх часов, последовавших за отъездом королевской семьи. Никто в первый момент не сомневался в успехе предприятия. Король имел двенадцать часов преимущества; по какой бы дороге он ни направился, никто не мог предположить, что не были приняты меры для обеспечения его поездки — хотел ли он пересечь границу, как обычно полагали, или намеревался обосноваться в каком-нибудь важном городе королевства? При любом из этих предположений жители Парижа считали своё положение весьма критическим. Они всегда рассматривали присутствие Короля среди них как гарантию против опасностей и мести, которые им могли угрожать.

К этому чувству у почти всей национальной гвардии прилеплялась истинная привязанность к особе Короля и его семьи, которую она за два года имела честь часто видеть вблизи, — честь, ещё весьма чувствительную для парижского буржуа. Итак, им предстояло множество трудностей, и они не знали, на что решиться и кому доверять. Армия внушала им не меньше беспокойства. Так мало нужно, чтобы повернуть дух солдат; видя Короля среди себя, они вполне могли

вновь стать роялистами, и даже роялистами весьма горячими[62].

Случай заставил меня в тот день обедать с председателем Собрания г-ном де Богарне[63]. Гг. де Барнав[64], Мену[65], Ламет[66] и, наконец, г-н де Сен-Фаржо[67]. Все они пришли укрыться в очень маленькой комнате, примыкавшей к клубу, о котором я говорил выше. Ресторатор по имени Робер обслуживал эту залу, куда допускались лишь члены клуба. Эти господа, прибыв из Собрания, нуждались в том, чтобы перевести дух, на несколько мгновений снять с себя парадную роль, какую им пришлось играть, пока длилось заседание. И они не стеснялись ни передо мной, ни перед двумя или тремя другими завсегдатаями, с которыми я обедал. Их разговор дышал полным унынием; они не знали, куда деваться, и я ясно видел, что они в полном неведении относительно пути, избранного Королём; следовательно, у меня осталось убеждение, что г-н де Лафайет, с которым они все были близки, также ничего не знал, и что все предположения, построенные на этот счёт, совершенно необоснованны.

Один человек среди этих господ меня удивил — г-н де Сен-Фаржо, президент с шапкой[68] Парижского парламента и депутат; он в тот день впервые дал волю чувствам ненависти и насилия, которые были в глубине его сердца. Внешность его была холодна; сквозила в ней магистратская спесь,

унаследованная от предков. Он мало высказывался в собраниях палаты, и, хотя у него был большой талант к слову, не припомню, чтобы когда-либо слышал от него три фразы подряд. Прибыв в Генеральные штаты, он оставался, пока длилось разделение сословий, в большинстве дворянства, то есть противником соединения трёх сословий и, следовательно, акта, наиболее необходимого для успехов Революции.

Мало-помалу, но всегда молча, он перешёл в большинство Учредительного собрания, то есть в лоно партии, делавшей Революцию, и постоянно голосовал с этой партией; но помимо этого согласия он ни во что не вмешивался и проводил почти все вечера в клубе, не открывая рта, когда речь заходила о политике, занятый исключительно игрой на бильярде и теряя там с большим хладнокровием много денег.

В тот день он впервые нарушил молчание, и когда гг. де Богарне и Мену, казалось, согласились, упрекая себя, что слишком торопили Короля и что совесть их перед ним не совсем чиста, мы услышали, к нашему великому удивлению, как он разразился самыми яростными ругательствами против Короля и Королевы. Тщетно его коллеги старались его успокоить и дать ему понять, что настал момент мудрости и умеренности; они ничего не добились, и мы увидели, как он встал из-за стола и покинул залу со всеми признаками яростного гнева. Вот человек, который впоследствии не только по-

дал свой голос за осуждение Людовика XVI[69], но и своей горячностью в привлечении голосов за это осуждение способствовал вынесению приговора более, чем кто-либо. На следующий день после сцены, которую я только что описал, он вновь обрёл свою обычную флегму и, казалось, думал лишь о своей партии на бильярде. Так было до 10 августа 1792 года. С той эпохи я больше с ним не встречался.

Я считаю себя вправе заключить, что, несмотря на выдержку вождей в Учредительном собрании, они в глубине души были весьма удручены. Все знают, как сцена изменилась на следующий день.

Пленение Короля внушило преданным роялистам трогательную мысль предложить себя в качестве заложников, которые были бы заключены вместо него. Без сомнения, было безумно думать, что такое предложение будет принято, и однако оно было сделано большинством с полной добросовестностью. Я знал нескольких, одного особенно, по имени г-н Бернар[70], президента Палаты косвенных сборов[71], шестидесяти лет, имевшего по меньшей мере шестьдесят тысяч ливров ренты. Едва его письмо ушло, как он уже покинул свою землю близ Шартра[72] и приехал обосноваться в Париже, позаботившись сообщить местному мэру свой адрес, чтобы его всегда имели под рукой в случае нужды, и едва осмеливаясь выходить из дома из страха заставить ждать,

когда за ним придут. Несмотря на свои шестьдесят лет, он вскоре эмигрировал и вступил с мушкетом на плече в дворянскую роту[73] в Кобленце[74]; он умер от лишений. Когда так жертвуют собой ради своих принципов, имеешь право на уважение даже тех, кто их не разделяет, и в нашей Революции было больше людей такого характера, чем обычно полагали.

Один из актов Учредительного собрания должен был иметь для меня горестные последствия. Хотя уничтожение Парламентов было решено, оно не могло продвигаться так быстро, как хотели, ибо надо было что-то поставить на их место, что требовало довольно долгой работы и не могло обойтись без некоторых размышлений. Одним из первых решений Собрания было постановление, что только каникулярные палаты[75], действовавшие в октябре 1789 года, продолжат — до иного распоряжения — разбирать все дела, как гражданские, так и уголовные. Таким образом, в следующем ноябре Парламент не возобновил заседаний, и с тех пор не возобновлял.

Каникулярная палата Парижа, пока длилось это своего рода междуцарствие, была обременена огромной работой и исполнила её с честью для своих членов.

Собрание постановило, что уголовное следствие будет

публичным. Во многих отношениях это было весьма хорошо, но до тех пор это никогда не практиковалось во Франции. Первый доклад, который надлежало сделать по этому новому порядку, выпал на долю моего отца, и это было по обвинению в подделке ассигнатов[76], полагаю, или равноценных бумаг. Оно было возбуждено против двух братьев из весьма почтенной буржуазной семьи, братьев Агас[77]. Их привели к этому юношеские проступки, и невозможно было остаться равнодушным к их судьбе; особенно сочувствовали их семье. Они были приговорены к смерти и казнены, но эта казнь стала поводом для большой борьбы между глубоко укоренившимся мнением — о позорном отпечатке, который налагает на всю семью бесчестящее осуждение, — и принципом, установленным Собранием, что проступки, преступления и наказания всецело личны.

К счастью для принципа, первые, к кому его применили, принадлежали к столь уважаемой семье, как семья Агас: в его пользу замечательно соединились усилия, и по этому случаю даже партии на время отступили перед лицом столь великого несчастья. Этот факт делает честь доброте французского характера, вот почему я его привожу; столько других ему противоречат в ту же эпоху!

Итак, принцип восторжествовал, и семья Агас сохранила своё существование и своё положение в обществе. Мой отец

немало способствовал этому результату тем, как он представил доклад, и нашёл в этом некоторое возмещение за все тяготы своей должности. Наконец они прекратились; новый судебный порядок был установлен, и каникулярная палата распущена: её исчезновение довершило исчезновение Парламента.

Национальное собрание, объявляя о роспуске этой палаты, не могло не воздать должное её поведению и не признать оказанных ею услуг.

Но прежде чем расстаться, в последний момент, когда эти магистраты были ещё в сборе, когда они составляли, так сказать, погребальное шествие этой древней и почтенной французской магистратуры, — должны ли они были разойтись в молчании? Совещались у г-на де Розамбо[78], председателя палаты. К г-ну де Мальзербу[79], тестю г-на де Розамбо, обратились за советом.

Сначала речь шла лишь о декларации, о своего рода прощании старой магистратуры Франции с французами, о свидетельстве, которое она считала себя вправе публично дать: что, передавая священный залог правосудия, она передавала его чистым и неприкосновенным, каким получила его от верховной власти, не боясь пожелать ради общественного блага, чтобы те, кому он будет отныне вверен, никогда не употре-

били его во зло.

Было несколько редакций, составленных в этом смысле; я их все видел; среди них были весьма удачные. Однако от редакции к редакции декларация меняла характер. Пришли к мысли, что протест более уместен, даже необходим, что нельзя освящать безоговорочным согласием столь чрезмерный акт, как полное уничтожение этих парламентов, которые столь долго защищали — почти в одиночку — и свободу подданных, и права короны; разве не было очевидно, что это уничтожение имело главной целью довершить ниспровержение всех преград, какие ещё могли воздвигнуться между троном и новаторами?

Когда такие идеи уже выдвинуты, редко имеешь силу им противостоять. Итак, протест был составлен и принят без труда; но нужно было решить, что с ним делать. Мой отец считал, что следует его обнародовать, и я поддержал его в этом, насколько мог. Мы говорили себе, что в то время ещё печатали всё, что хотели, с полной свободой, что газеты полны протестов всякого рода, что такого рода документы, ценность которых мы невысоко ставили, могут всё же иметь некоторое значение — хотя бы тем воздействием, какое они оказывают на умы. Мы были, впрочем, вправе добавить, что если держать этот документ в тайне, то было бы недостойно обнародовать его в случае восстановления Парламента; что

эта победа, одержанная без опасности, была бы чем-то ребяческим, чтобы не сказать больше.

Мой отец, убеждённый в основательности этих доводов, не пожалел усилий, чтобы убедить в них своих коллег, но не мог склонить их к своему мнению, и значительным большинством голосов было решено, что протест останется тайным. Г-н де Розамбо был уполномочен обеспечить его сохранность.

Два года спустя он был выдан человеком, который вместе с ним трудился над его сокрытием, и он стал поводом к смертельной войне, которую Комитет общей безопасности[80] объявил сначала членам каникулярной палаты, а затем всем парламентским советникам. Возможно, даже вероятно, что, не будь этого предлога, нашли бы другие, но, наконец, тот, который доставил этот несчастный документ, был самым удобным: если бы его обнародовали сразу после написания, он был бы забыт на следующий день, как многие другие, тогда как, когда о нём впервые узнали в последние дни 1793 года, это выглядело как новое преступление.

Когда Конституция[81] была обнародована, Учредительному собранию оставалось лишь удалиться целиком. Я видел, с какой уверенностью роялисты радовались тому, что все депутаты Учредительного собрания возвращаются в об-

щую массу. Как ни очевидно было из новостей, приходивших к нам ежедневно о выборах, вызванных необходимостью заменить выбывших, что их преемники будут врагами гораздо более яростными и куда более грозными, — это предупреждение не имело никакого веса.

Мне представился совершенно особый случай оценить, чего от них следовало ожидать. Г-н Дюко, с которым я, как уже говорил выше, следил за частью событий 1789 года, прибыл как депутат от Бордо. Хотя наши отношения прервались более года назад, едва высадившись, он настоятельной запиской пригласил меня навестить его в гостинице, где он остановился, весьма утомлённый и немного больной. Я нашёл его там окружённым всей той жирондистской депутацией[82], которая играла столь большую роль в Законодательном собрании и в начале Конвента. То были Верньо[83], Гюаде[84], Жансонне[85], Буайе-Фонфред[86] и др. Он уговорил меня остаться завтракать с ними, и я провёл с ними всё утро.

Все были в упоении от успехов, какие себе обещали, и не скрыли от меня — хотя меня представили им как откровенного роялиста — если не своих планов, то по крайней мере своих идей, которые были республиканскими. Я был не менее поражён безумием их теорий. Красноречие Верньо блистало даже в разговоре, и мне показалось, что этому красноречию суждено послужить партии, к которой он примкнул,

самым грозным оружием. Я был удивлён глубоким презрением, какое эти господа выказывали к своим предшественникам-учредителям, и тем, как они называли их людьми с узкими взглядами, с предрассудками и никогда не умевшими воспользоваться обстоятельствами.

После этого утра я остался глубоко убеждён, что нам уготованы совсем иные опасности, чем те, что окружали нас три года.

Через месяц я должен был прекратить видеться с Дюко и его друзьями; слишком большое расстояние нас разделяло. События, в самом деле, не заставили себя ждать. Октябрь был ознаменован резнёй в Авиньоне[87]; башня Гласьер была наполнена трупами тех, кого обвиняли в противодействии присоединению этой области к Франции. До конца года был издан декрет, требовавший от Месье[88] вернуться во Францию в двухмесячный срок, в противном случае он лишался своего возможного права на Регентство[89]. Уже был издан первый декрет против эмигрантов, и он был замечателен тем, что, хотя обсуждение было долгим, ни один голос не поднялся против несправедливости предложенных мер; серьёзные трудности возникли лишь относительно размера наказаний, какие надлежало наложить на непокорных.

Этот декрет был первым предметом открытого разногла-

сия между Законодательным собранием и Королём. Он отказался дать ему санкцию. Вскоре он также наложил своё вето на декрет против священников; тот лишал всякого содержания и всякой пенсии тех из них, кто отказывался принести гражданскую присягу.

Несколько дней спустя Петион[90] был избран мэром, а Манюэль[91] назначен прокурором-синдиком Парижской коммуны[92]. Эти два человека были преданными агентами Комитета надзора[93], образованного в лоне Законодательного собрания; через них революционная партия была хозяйкой Парижа.

Первый день 1792 года был ознаменован декретом, который предписывал взять под арест, если они явятся, братьев Короля, а также нескольких главарей эмигрантов, и поручал высокому суду в Орлеане[94] их судить. Другим декретом, от 9 февраля, все имущества эмигрантов были подвергнуты секвестру[95].

23 и 24 января парижские бакалейщики были отданы на разграбление черни, которая безнаказанно опустошила лавки, и я видел уже 11 февраля, как Тюильри пересекала депутация грабителей, шедшая к Собранию с красным колпаком[96] на голове. Это был первый раз, когда этот революционный знак появился публично.

Депутация была принята, и она поздравила законодателей с их счастливыми трудами. Законодатели ответили на полученные поздравления, позволив несколько дней спустя убить мэра Этампа[97] при исполнении его обязанностей, декретировав безнаказанность главаря авиньонских убийц Журдана, прозванного Головорезом (Coupe-tête)[98], и провозгласив амнистию в пользу всех преступлений и проступков, совершённых в связи с революционными действиями.

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

[1] ****Бастилия (Bastille).**** Крепость и государственная тюрьма в Париже, построенная в XIV веке; символ королевского произвола. Взята восставшим народом 14 июля 1789 года; вскоре после этого разрушена. Гарнизон Бастилии состоял из ветеранов-инвалидов; сопротивление было ничтожным, что даёт Паскье основание называть взятие крепости «мнимым боем».

[2] ****Полк французских гвардейцев (Régiment des gardes françaises).**** Старейший полк французской армии, сформированный в 1563 году. В июле 1789 года большая часть солдат перешла на сторону восставших, что предопределило па-

дение Бастилии.

[3] ****Улица Сент-Антуан (rue Saint-Antoine).**** Одна из главных улиц восточной части Парижа, ведущая к Бастилии.

[4] ****Инвалиды (invalides).**** В ту эпоху так называли ветеранов гарнизонной службы, уже не годных к строевой службе, но несших караульную службу в крепостях. Гарнизон Бастилии состоял именно из таких солдат.

[5] ****Площадь Бастилии (place de la Bastille).**** Площадь на месте крепости, образовавшаяся после её разрушения.

[6] ****Бомарше (Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, 1732–1799).**** Французский драматург и предприниматель, автор комедий «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро».

[7] ****Мадемуазель Конта (Louise-Françoise Contat, 1760–1813).**** Французская актриса, одна из ведущих трагикомических актрис «Комеди-Франсез». В русской традиции её имя передаётся как «Конта»; французское написание — Contat.

[8] ****Комеди-Франсез (Comédie-Française).**** «Французская комедия», государственный театр в Париже, основан-

ный в 1680 году; оставлено без перевода как историческое название.

[9] **Королевская площадь (place Royale).** Ныне площадь Вогезов (place des Vosges) в Париже; в XVIII веке — аристократический квартал.

[10] **Г-жа де Сталь (Germaine de Staël, 1766–1817).** Французская писательница, хозяйка знаменитого салона, одна из самых блестящих женщин эпохи.

[11] **Г-жа де Куаньи (Adrienne-Catherine de Coigny, 1750–1820).** Представительница аристократического рода, известная своим остроумием.

[12] **Г-н де Нарбонн (Louis-Marie-Jacques-Amalric de Narbonne-Lara, 1755–1813).** Французский генерал и дипломат, побочный сын Людовика XV.

[13] **Виконт де Сегюр (Louis-Philippe de Ségur, 1753–1830).** Французский дипломат и писатель, автор мемуаров о Старом порядке.

[14] **Маркиз де Шовлен (François-Claude de Chauvelin, 1766–1832).** Французский политический деятель, депутат Генеральных штатов и Учредительного собрания; в эпоху Ре-

волюции — один из лидеров конституционалистов.

[15] **Г-н де Лозен (Armand-Louis de Gontaut, duc de Lauzun, 1747–1793).** Французский генерал и авантюрист, участник Войны за независимость США; казнён при Терро-ре.

[16] **Г-н де Сен-Бланкар (de Saint-Blancard).** Французский аристократ, придворный.

[17] **Аршамбо де Перигор (Archambaud de Périgord, 1762–1828).** Французский аристократ, придворный.

[18] **Аббат Делиль (Jacques Delille, 1738–1813).** Французский поэт, переводчик Вергилия и Мильтона, член Французской академии.

[19] **Шамфор (Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort, 1741–1794).** Французский писатель-моралист, автор «Максим и мыслей».

[20] **Бомарше.** См. примечание [6].

[21] **Коллен д'Арлевиль (Jean-François Collin d'Harleville, 1755–1806).** Французский драматург, автор комедий.

[22] **Виже (Étienne Vigée, 1758–1820).** Французский драматург и литератор, брат художницы Элизабет Виже-Лебрён; автор комедий и статей по литературе.

[23] **Дефошере (Jean-Baptiste Desfaucherets, 1746–1808).** Французский драматург и литератор.

[24] **Мадемуазель Рокур (Françoise-Marie-Antoinette Saucerotte, dite Mlle Raucourt, 1756–1815).** Французская трагическая актриса, одна из самых известных актрис «Комеди-Франсез».

[25] **Театр-Франсез (Théâtre-Français).** Другое название «Комеди-Франсез».

[26] **Моле (François-René Molé, 1734–1802).** Французский актёр, один из ведущих трагиков «Комеди-Франсез».

[27] **Флери (Joseph-Abraham Bénard, dit Fleury, 1750–1822).** Французский актёр-комик «Комеди-Франсез».

[28] **д'Азенкур (d'Azincourt).** Французский актёр «Комеди-Франсез».

[29] ****Тальма (François-Joseph Talma, 1763–1826).**** Знаменитый французский трагический актёр, реформатор сценического искусства.

[30] ****Пале-Рояль (Palais-Royal).**** Дворец в Париже, принадлежавший герцогу Орлеанскому; в эпоху Революции — центр общественной и политической жизни.

[31] ****Селимена.**** Персонаж комедии Мольера «Мизантроп» (1666).

[32] ****«Фигаро».**** Имеется в виду комедия Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1784).

[33] ****«Опера-Комик» (Opéra-Comique).**** Парижский театр, специализировавшийся на комических операх; название оставлено в оригинале.

[34] ****Гретри (André Grétry, 1741–1813).**** Французский композитор бельгийского происхождения; его опера «Ричард Львиное Сердце» (1784) пользовалась огромным успехом.

[35] ****«Ричард Львиное Сердце».**** Опера Андре Гретри (1784).

[36] ****Блондель.**** Персонаж оперы Гретри «Ричард Львиное Сердце», поющий романс о верности королю.

[37] ****Г-н Фулон (Joseph-François Foullon de Doué, 1715–1789).**** Французский государственный деятель, интендант армии; 22 июля 1789 года растерзан толпой в Париже.

[38] ****Гревская площадь (place de Grève).**** Площадь перед парижской Ратушей, место казней и народных собраний.

[39] ****Бертье (Louis Bénigne François Bertier de Sauvigny, 1737–1789).**** Интендант Парижа, зять Фулона; казнён толпой 22 июля 1789 года.

[40] ****Ратуша (Hôtel de ville).**** Здание парижского муниципалитета.

[41] ****Генеральные штаты (États généraux).**** Сословно-представительное собрание Франции, впервые созванное в 1302 году; открылись 5 мая 1789 года в Версале.

[42] ****Дюко (Pierre-Roger Ducos, 1747–1816).**** Французский политический деятель, депутат Законодательного собрания и Конвента; впоследствии член Директории и участник переворота 18 брюмера.

[43] **Законодательное собрание (Assemblée législative).** Французский парламент в 1791–1792 гг.

[44] **Конвент (Convention nationale).** Высший законодательный и исполнительный орган Франции в 1792–1795 гг.

[45] **Оранжисты.** Партия в Голландии, поддерживавшая штатгальтера Вильгельма V Оранского; в 1787 году одержала победу над республиканцами-патриотами.

[46] **Тюильри (Tuileries).** Королевский дворец в Париже, резиденция Людовика XVI после переезда из Версаля в октябре 1789 года.

[47] **Парламент (Parlement).** Здесь: Парижский парламент, высший судебный орган Франции при Старом порядке.

[48] **Г-н де Лафайет (Gilbert du Motier, marquis de Lafayette, 1757–1834).** Французский генерал и политический деятель, участник Войны за независимость США, командующий национальной гвардией Парижа.

[49] **Национальная гвардия (Garde nationale).** Гражданское ополчение, созданное в Париже в июле 1789 года.

[50] **Г-н де Буйе (François-Claude-Amour de Bouillé, 1739–1800).** Французский генерал, командовавший войсками на востоке Франции; организатор неудавшегося побега короля в Варенн.

[51] **Г-н д'Уаньи (Louis-Philippe d'Oigny, 1735–1810?).** Генеральный интендант почт.

[52] **10 августа 1792 года.** День штурма Тюильри, свержения монархии.

[53] **Террор.** Период массовых репрессий в годы Французской революции (1793–1794).

[54] **Клуб Валуа (Club de Valois).** Политический клуб в Пале-Рояле, основанный в 1789 году; отличался относительной терпимостью к разным мнениям.

[55] **Учредительное собрание (Assemblée constituante).** Французский парламент в 1789–1791 гг., принявший Конституцию 1791 года.

[56] **Эмиграция.** Массовое выселение французских аристократов и роялистов из Франции после 1789 года.

[57] **Граф д'Артуа (Charles-Philippe, comte d'Artois,

1757–1836).** Брат Людовика XVI, будущий король Карл X.

[58] **Г-н де Калонн (Charles-Alexandre de Calonne, 1734–1802).** Французский государственный деятель, министр финансов в 1783–1787 гг.

[59] **Прялки (quenouilles).** Символ женского труда. Отправляя прялки тем, кто не эмигрировал, женщины намекали, что мужчине, не желающему сражаться за короля, место дома, за прялкой.

[60] **Святой Бернар Клервосский (Bernard de Clairvaux, 1090–1153).** Французский аббат, проповедник Второго крестового похода.

[61] **Варенн (Varennes).** Городок во Франции, где 21 июня 1791 года был задержан бежавший из Парижа Людовик XVI.

[62] **Примечание автора.** Один анекдот, точность которого я могу засвидетельствовать, доказывает, до какой степени этот страх был обоснован. Полк Королевы, стоявший гарнизоном в Лилле, уже несколько дней бунтовал против своего полковника Теодора де Ламета (1756–1854), старшего из четырёх братьев, единственного, кто был аристократом. Следующий факт я узнал от него самого: в Лилль приходит

новость, что Король покинул Париж и находится в Меце во главе гарнизона этого города; три часа спустя полк отправляет к своему полковнику депутацию, умоляя его встать во главе и вести его в Мец к Королю. Полк Королевы должен был необходимо быть одним из первых, кто встанет вокруг его особы.

[63] **Г-н де Богарне (Alexandre de Beauharnais, 1760–1794).** Французский генерал, первый муж Жозефины, будущей жены Наполеона; в 1791 году — председатель Учредительного собрания.

[64] **Барнав (Antoine Barnave, 1761–1793).** Французский политический деятель, лидер конституционалистов.

[65] **Мену (Jacques-François de Menou, baron de Boussay, 1750–1810).** Французский генерал, депутат Генеральных штатов и Учредительного собрания от дворянства; впоследствии участник египетской экспедиции, принявший ислам под именем Абдаллах Мену.

[66] **Ламет (Charles-Malo-François de Lameth, 1757–1832).** Французский политический деятель, один из лидеров конституционалистов. Не путать с его старшим братом Теодором де Ламетом (1756–1854), полковником Полка Королевы (см. примечание [62]).

[67] **Г-н де Сен-Фаржо (Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, 1760–1793).** Французский политический деятель, голосовавший за казнь короля; убит 20 января 1793 года.

[68] **Президент с шапкой (président à mortier).** Должностное лицо высших судов Старого порядка, носившее особую круглую шапку с золотым галуном.

[69] **Людовик XVI (1754–1793).** Король Франции в 1774–1792 гг.; казнён 21 января 1793 года.

[70] **Г-н Бернар (Bernard).** Президент Палаты косвенных сборов, эмигрировал и умер в Кобленце.

[71] **Палата косвенных сборов (Cour des aides).** Судебный орган, разбиравший дела, связанные с косвенными налогами.

[72] **Шартр (Chartres).** Город во Франции к юго-западу от Парижа.

[73] **Дворянская рота (compagnie noble).** Добровольческое формирование эмигрантов-дворян в армии принца Конде.

[74] ****Кобленц (Coblence).**** Город в Германии, центр эмиграции французских роялистов.

[75] ****Каникулярная палата (chambre des vacations).**** Палата Парижского парламента, заседавшая в каникулярное время; в 1789–1790 гг. выполняла функции парламента.

[76] ****Ассигнаты (assignats).**** Бумажные деньги, выпущенные в период Революции; первоначально обеспеченные конфискованными церковными землями.

[77] ****Братья Агас (frères Agasse).**** Обвинялись в подделке ассигнатов; их дело стало первым, рассмотренным в порядке публичного уголовного следствия.

[78] ****Г-н де Розамбо (Jean-Baptiste-Gabriel de Rosambo, 1745–1794).**** Президент каникулярной палаты Парижского парламента; казнён при Терроре.

[79] ****Г-н де Мальзерб (Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, 1721–1794).**** Французский государственный деятель, защитник Людовика XVI на процессе; казнён при Терроре.

[80] ****Комитет общей безопасности (Comité de sûreté générale).**** Один из комитетов Конвента, ведавший поли-

цией и репрессиями.

[81] ****Конституция.**** Конституция 1791 года, принятая Учредительным собранием.

[82] ****Жирондисты.**** Политическая группировка в Законодательном собрании и Конвенте, представлявшая умеренное крыло революционеров.

[83] ****Верньо (Pierre Victurnien Vergniaud, 1753–1793).**** Французский политический деятель, один из лидеров жирондистов, выдающийся оратор.

[84] ****Гюаде (Marguerite-Élie Guadet, 1758–1794).**** Французский политический деятель, жирондист.

[85] ****Жансонне (Armand Gensonné, 1758–1793).**** Французский политический деятель, жирондист.

[86] ****Буайе-Фонфред (Jean-Louis Boyer-Fonfrède, 1766–1793).**** Французский политический деятель, жирондист.

[87] ****Авиньонская резня (резня в Гласьер).**** Массовые убийства в Авиньоне в октябре 1791 года, жертвами которых стали противники присоединения Авиньона к Франции. Тела убитых сбрасывали в башню Гласьер (la Glacière), отчего

события получили название «резня в Гласьер».

[88] ****Месье (Monsieur).** Титул брата короля; здесь: граф Прованский, будущий Людовик XVIII.

[89] ****Регентство.** Право на управление государством в случае малолетства или недееспособности монарха.

[90] ****Петион (Jérôme Pétion de Villeneuve, 1756–1794).** Деятель Французской революции, мэр Парижа в 1791–1792 гг.

[91] ****Манюэль (Pierre-Louis Manuel, 1751–1793).** Прокурор-синдик Парижской коммуны.

[92] ****Парижская коммуна (Commune de Paris).** Муниципальное правительство Парижа в период Революции.

[93] ****Комитет надзора (Comité de surveillance).** Орган, созданный в Законодательном собрании для надзора за подозрительными лицами.

[94] ****Высокий суд в Орлеане (Haute Cour d'Orléans).** Чрезвычайный судебный орган, учреждённый для суда над политическими противниками.

[95] **Секвестр (séquestre).** Временное изъятие имущества в казну.

[96] **Красный колпак (bonnet rouge).** Фригийский колпак, символ революции.

[97] **Мэр Этампа.** Жак-Гийом Симонно, убит толпой 3 марта 1792 года.

[98] **Журдан Головорез (Mathieu Jouve Jourdan, dit Coupe-tête, 1746–1794).** Один из руководителей авиньонской резни; казнён при Терроре.

Глава 4

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Облик Пале-Рояля, центра революционного движения: кафе, игорные дома, публичные женщины. — Платонический протест Людовика XVI против покушения 20 июня. — Изоляция г-на де Лафайета. — Новая активность революционной партии. — Праздник Федерации. — Прекрасная г-жа Фонтене, впоследствии г-жа Тальен. — Королева в Опере, в Итальянской комедии. — Штурм замка 10 августа. — Торжество анархии. — Сентябрьские убийства. — Вступление пруссаков в Шампань. — Причины быстрого отступления герцога Брауншвейгского. — Монархические предпочтения провинции при падении королевской власти. — Процесс Людовика XVI. — Жалобные песни о судьбе Короля. — День суда; осуждение. — Казнь 21 января. — Советник Паскье перед эшафотом; глубокое смятение толпы и всенародная скорбь. — Убийство г-на де Сен-Фаржо. — Ярость революционеров. — Закон о подозрительных. — Женитьба советника Паскье.

Быстрый ход Революции не оставлял нам никаких иллюзий; внешняя война должна была увеличить её могущество. Я проводил жизнь в клубе Валуа[1], состоявшем в значи-

тельной части из людей, разделявших мои мнения и с которыми я обменивался своими горестными опасениями. Он был основан в Пале-Рояле[2], откуда так долго исходил сигнал ко всем безумствам, ко всем зверствам, какие совершались в первые годы Революции. Ничего не знали, ничего не видели, ни о чём не были осведомлены, если не проходили там хотя бы два-три раза в день.

Там я видел Камиля Демулена[3], взбравшегося на тот стул, с которого он 14 июля проповедовал крестовый поход против Бастилии. Там я видел 6 октября, как процессией прибыли фурии, неся на пиках головы телохранителей[4], убитых на пороге покоев Короля и Королевы и которые, начиная от Версаля, предшествовали кортежу, столь «свободно» приведшему в Париж Короля и королевскую семью.

Посреди сада был вырыт цирк, дверь которого имела железное жерло; именно там под покровом анонимности складывались все безумные измышления, какие их авторы не осмеливались обнародовать с открытым лицом. Аббат Фоше[5] там витийствовал; вскоре его прогнали, чтобы повлечь на эшафот. Каждая партия по очереди приходила туда искать свою опору, каждая партия приходила туда и падала, жертвой той, в чьих руках победа осталась накануне.

Так, чтобы остановиться лишь на одном из примеров, ко-

которые должны были поразить меня более всего, — этот г-н д'Эпремениль[6], предмет моего восхищения в 1787 году, чья народная благосклонность достигла тогда высшей степени, чьё имя произносилось в этом собрании как имя героя, чей портрет был выставлен во всех лавках, — я видел, как его в конце 1791 года тащили окровавленного. Национальная гвардия сумела вырвать его из рук черни и отвезла его полумёртвого в соседний особняк Казначейства. Там он сказал г-ну Петиону[7], мэру Парижа, прибежавшему его увидеть, эти слова столь пророческого смысла: «И меня тоже, сударь, некогда народ носил с триумфом!»

Славе Пале-Рояля той эпохи недоставало лишь того, чтобы среди клубов всякого рода, которыми он был полон, числился клуб якобинцев[8], а позднее — кордельеров[9], но, по крайней мере, самые деятельные связи ни на один день не прекращались между его кафе, его группами и этими могущественными собраниями.

Но не только в отношении политических или народных сцен можно сказать, что Пале-Рояль в течение всего Учредительного собрания, Законодательного собрания и Конвента являл зрелище, которому трудно было бы найти образец в истории: к этому следует добавить зрелище всех беспорядков общества в состоянии разложения.

Пусть представят себе одно из самых значных мест столицы, разросшееся до того, что заняло всё пространство сада, галерей и прилегающих строений. Пусть вообразят всю эту поверхность, заполонённую средь бела дня и до глубокой ночи, насколько позволяло закрытие решёток, тучей женщин дурного поведения, чья наглость не знала границ; затем самые гнусные маленькие спектакли, куда их почти всегда пускали бесплатно, потому что они привлекали зрителей; затем публичные игры, игорные дома всякого рода, открытые в десяти разных местах — сначала с полной свободой, а затем, когда их стали запрещать, с приспособлением из железных решёток, установленных на всех лестницах, с этажа на этаж, и таким образом бросающих вызов публичной власти, которая сквозь столько препятствий никогда не приходила иначе, как чтобы найти столы пустыми. Добавьте многочисленные рестораны, где устраивались оргии — необходимое преддверие заговоров, грабежей и мятежей.

В нашем клубе было два человека совершенно противоположных партий: один — виконт де Ноай[10], депутат Учредительного собрания: он отправлялся служить в армию, которая должна была вступить в Бельгию под командованием генерала Диллона[11], и снаряжал свой обоз; другой — г-н де Ла Брифф, офицер полка Короля. Этот последний возвращался в Кобленц, откуда приехал в Париж за деньгами и за всем необходимым, чтобы выступить в поход. Они сов-

местно занимались поисками нужных им лошадей, помогая друг другу советами и находками; я помогал и тому и другому в этих поисках; далеко от такого ещё немного рыцарского товарищества до той кровожадной ярости, которая четыре месяца спустя требовала расстреливать эмигрантов, взятых с оружием в руках.

Наше собрание Валуа, составленное из людей столь различных по чувствам и мнениям, имело, впрочем, ту замечательную черту, что за четыре года своего существования в его лоне происходили довольно живые ссоры и, вслед за ними, довольно легко улаживаемые вызовы на дуэль, но из него не вышло — ни во время, ни после — ни одного акта, который скомпрометировал бы кого-либо из его членов. Там спорили на дворянское слово, и когда, в царствование Комитета общей безопасности[12], был затребован список членов клуба как весьма пригодный для составления списка подозрительных, он оказался утерян и не был восстановлен по памяти ни одним из слуг заведения.

Людовик XVI ограничился тем, что объявил в прокламации от 22 июня недостойные поступки, жертвой которых стал, и заявил, что насилие никогда не вырвет у него согласия на декреты, какие он сочтёт противными общественному интересу. Это было всё, что сочли возможным сделать для защиты монархии, а ведь покушение 20 июня[13] было

самым благоприятным обстоятельством, чтобы сплотить вокруг трона множество рук, которые только и ждали случая его поддержать.

Но нужен был сигнал, а этот сигнал мог исходить лишь от самого трона; трон остался нем. Конституционная партия Учредительного собрания одна сделала несколько демонстраций, но она уже не располагала никакой реальной силой; её главный вождь, г-н де Лафайет, командовал, правда, армией, но вскоре узнали, до какой степени она мало от него зависела. Он написал 16 июня весьма сильное письмо Собранию, а 28-го явился к барьеру, требуя от имени этой армии наказания виновников покушения 20 июня. Его главная надежда, когда он отважился на этот шаг, основывалась на национальной гвардии, которую он рассчитывал взволновать видом своего прежнего начальника. Он, по-видимому, льстил себя мыслью, что соберёт её вокруг себя, и не сомневался, что она должна оказать ему поддержку, когда речь идёт о том, чтобы продиктовать закон мятежникам. В этом смысле предприятие было прекрасно, но оно было плохо задумано и могло удалиться лишь в том случае, если бы было согласовано с Королём и поддержано министерством и действием замка.

Напротив, г-н де Лафайет остался совершенно изолирован. Национальная гвардия не осмелилась связаться с на-

чальником, который уже не был её начальником, которого она видела лишь мимоходом, и от своего шага — быть может, самого почётного в его жизни — он пожал лишь утрату того небольшого влияния, какое ещё ему принадлежало.

После ужасного дня 20 июня революционная и анархическая партия удвоила активность и энергию по мере того, как слабость противостоящей ей партии проявлялась всё более. Она с презрением отвергала обращения, приходившие из департаментов, и распускала, вместе со штабом парижской национальной гвардии, штабы национальных гвардий городов с населением в пятьдесят тысяч душ, хорошо зная, что эти штабы могут заключать в себе некоторые элементы сопротивления. Затем она объявила отечество в опасности и поддержала Петиона и Манюэля[14] против департаментской администрации Парижа, которая их отстранила; она предписала их восстановление. Наконец, повсюду она разоружала честных людей и вооружала подонков нации.

Ожидали, что 14 июля, время ежегодного возобновления федерации, будет днём кризиса; но это ожидание было обмануто; некоторых приготовлений ещё недоставало, и катастрофа была отсрочена.

Я присутствовал на этой федерации. Случай заставил меня там встретить, в момент моего прибытия, прекрасную г-

жу де Фонтене[15], которая с тех пор стала знаменитой г-жой Тальен. Она тогда разделяла все мои опасения насчёт настоящего, все мои тревоги о будущем. Я часто вспоминал это обстоятельство, когда мы находились в своего рода близости, которая столь незадолго предшествовала той эпохе, когда наши судьбы увлекли нас по столь расходящимся путям: её судьба вела её сквозь темницы Террора, через ложе Тальена, Барраса, Уврара, к её браку с принцем де Шиме.

Что бы ни говорили и ни думали о её частной жизни, все те, кто имел случай хорошо её узнать, не могли отказать ей — сверх дани, подобающей самой восхитительной красоте, — в дани искреннего уважения за доброту её сердца и за счастье, какое она постоянно находила в том, чтобы оказывать услуги в самые трудные и самые опасные моменты.

Итак, вот в какой компании я видел, как Людовик XVI в последний раз клялся перед алтарём отечества в верности Конституции. Мне кажется, я ещё вижу Пани и Сержана[16], обходящих Марсово поле верхом и со своими трёхцветными шарфами. Они были могущественнее своего государя, и лишь перед ними почтительно расступалась эта толпа санкюлотов, носивших на шляпах надпись: «Да здравствует Петион!»

Федераты, как и Король, поклялись соблюдать Конститу-

цию, и три дня спустя часть этих федератов, явившись к барьеру Собрания, дерзко потребовала приостановления исполнительной власти в лице Короля. Они требовали также предания суду Лафайета, наказания директории департамента Сены и обновления судебных корпусов. На все эти требования председатель, г-н де Воблан[17], ограничивался ответом, что не следует отчаиваться в спасении отечества.

Подобные шаги возобновлялись в последующие дни, и наконец почва столь очевидно осталась за мятежниками, что члены директории департамента Сены — единственной административной власти в столице, которая им не принадлежала, — сочли себя обязанными подать в отставку. Г-н Рёдерер[18], прокурор-синдик, остался на своём посту.

В ту же эпоху в нескольких городах Прованса, в частности в Арле, происходили всё ещё безнаказанные убийства. Они были предвестником прибытия в Париж того знаменитого батальона марсельцев[19], который сыграл решающую роль в день 10 августа.

Быть может, никогда ещё ни одна партия не творила величайшего разрушения столь откровенно, столь дерзко. Прочь теории, прочь пустые фразы — всё идёт к цели. Удара жаждут, и не скрывают этого; угроза тотчас сменяется делом.

И что могут противопоставить всей этой активности, всей

этой дерзости те, кому поручено их подавлять? Каковы были элементы сопротивления? Увы, все предавались великим иллюзиям. Я видел в эти последние месяцы нашу бедную Королеву в Опере, в Итальянской комедии[20], приветствуемую рукоплесканиями салонной публики, которая спешила прийти принести ей это утешение. Я слышал восторги этой публики, когда г-жа Дюгазон[21] пела с Мёнье[22] дуэт из «Непредвиденных событий»[23], заканчивающийся словами: «О! как я люблю моего господина! О! как я люблю мою госпожу!» И ей не преминули сказать, возвращаясь в Тюильри, что она только что слышала подлинное выражение чувств своих подданных.

Самые серьёзные и самые искусные теряли драгоценное время в тёмных и ничтожных интригах, пытаясь за деньги привлечь небольшое число депутатов.

Поскольку избежали 20 июня, не предвидя его, казалось, верили, что, оставаясь настороже, почти нечего больше опасаться. Впрочем, столько людей имели безумие думать, что это лишь дурной момент, который надо пережить, и считали столь близкой помощь, обещанную герцогом Брауншвейгским[24]: нужно было, говорили они, лишь немного терпения!

Однако тем временем с мужеством и преданностью, на-

до признать, готовились, если понадобится, выдержать день штурма в замке. В их распоряжении был остаток полка швейцарской гвардии[25] и несколько батальонов национальной гвардии, в чьей верности не было сомнений. Эти естественно указанные средства защиты умножались всеми теми, какие могло предложить рвение немалого числа преданных людей, которым был дозволен вход в замок и чья решимость твёрдо установилась — составить королевской семье стену из своих тел.

У меня, как и у принца де Сен-Мориса[26], была мысль встать в ряды этих последних, и 9 августа утром мы написали г-ну де Шансене[27], прося пропуска для входа; они не пришли к нам к вечеру, и в ночь с 9 на 10 мы тщетно прилагали много усилий, чтобы проникнуть в замок, тогда уже под угрозой. Я отмечаю этот факт не ради его действительной важности, но из-за двух обстоятельств, с ним связанных, из которых одно было весьма роковым, а другое — на редкость счастливым. Пропуск, который я просил 9-го, пришёл ко мне малой почтой[28] два дня спустя, когда всё было кончено. Как он был так задержан, не будучи перехвачен? Как тогда меня не арестовали? Это удача, которую я никогда себе не объяснял. Рок обрушился на принца де Сен-Мориса. Его доброй воле не больше повезло, чем моей, с той разницей, что его пропуск к нему не пришёл и он никогда о нём не слышал. Однако впоследствии он сложил голову на эшафоте

и пал под обвинением в том, что был одним из защитников замка.

Мы оба видели все сцены. Мы были на пути Короля в саду Тюильри, когда он его пересекал, уступая совету отправиться в Собрание и отдаться под его защиту. Пушечные выстрелы уже пронизывали сад, когда мы из него вышли. Бой был недолог, но его хватило, чтобы уничтожить самую могущественную и самую древнюю династию, царствующую в Европе.

Последствие этого события было тем, чем оно и должно было быть, то есть ужасающей сумятицей, настоящим распадом общества, среди которого не стало больше безопасности ни для кого. Никто не мог быть уверен в завтрашнем дне. Моя безопасность была скомпрометирована самым серьёзным образом из-за неосторожности в одежде. Я имел неосторожность 11-го утром выйти из дома с заплетёнными и поднятыми волосами, с гребнем. Я не подумал, что это обычная часть швейцарского мундира. По этому лёгкому признаку я в одно мгновение оказался атакован на бульваре Мадлен двумя или тремя сотнями разъярённых, которые бросились на меня и, не дав мне возможности произнести ни слова, потащили в сторону Вандомской площади, где вешали на фонаре всех, кого можно было найти из швейцарцев и беглецов из замка.

Меня спас маленький барабанщик секции, который меня узнал. Это он обычно приносил мне повестки на дежурство, и, поскольку я никогда не являлся на службу, я довольно щедро платил за заботу найти мне замену. Он бросился в середину разъярённой орды, добился тишины, ударяя в свой барабан, закричал, что я не швейцарец, назвал моё имя, мой адрес. По его свидетельству меня с триумфом отвели домой. Я выразил свою признательность маленькому барабанщику, оплатив его снаряжение в роту волонтеров.

Лучшее, что можно было сделать, — это как можно скорее бежать из театра стольких ужасов. Моя семья приняла это решение; но заставы были закрыты, и ничего не было труднее, чем получить паспорта. Я тщетно работал над этим четыре или пять дней, когда Дюко[29], которого я не видел несколько месяцев, был об этом осведомлён. Я живо сожалею, что не сохранил записку, которую он мне написал по этому случаю. То было выражение самых деликатных упрёков, смешанное с печалью о том, что разногласия в мнениях могли нас настолько отдалить, что я не обратился к нему в своём затруднении.

Я пошёл к нему, и он всеми силами помог мне получить необходимые бумаги, чтобы покинуть Париж. Так я имел случай видеть его несколько раз, и всегда я расспрашивал

его и с любопытством слушал о сетях, приведших к кровавой катастрофе, которую мы сейчас пережили. В экзальтации своего успеха он ничего не скрывал и рассказал мне — что впоследствии подтвердили мемуары г-жи Ролан[30] — о решении, принятом в их тайном совещании, пожертвовать одним из своих и дать ему пасть от ударов убийства, которое приписали бы Двору, если не найдут иного средства поднять народ против него.

Некий Гранжнёв[31], полагаю, обрёл себя на это и должен был пасть жертвой. Жилище Дюко выходило на Вандомскую площадь. Из его окна были видны люди, работавшие над низвержением великолепной конной статуи Людовика XVI; я не побоялся воззвать от такого варварства к возвышенности его ума, даже к его весьма живому вкусу к искусствам. «Будь спокоен, — ответил он мне, — свобода воздвигает в сто раз больше памятников, чем разрушает!» Несмотря на эти речи энтузиаста, нетрудно было заметить, что победители были беспокойны; Дюко был из тех, кто в ходе Революции подготовил столько дней, о которых они жалели на следующий день.

Я смог уехать из Парижа лишь 29-го. Едва прибыв в Абвиль, где я решил искать убежище с моими близкими, я получил там известие о сентябрьских убийствах[32].

Тем временем пруссаки вступали в Шампань. Как случилось, что это движение иностранных армий, которое должно было быть согласовано со столь великой тщательностью, которое совершалось среди обстоятельств, по-видимому, столь благоприятных, было однако остановлено со столь великой быстротой? Тогда едва ли знали, как объяснить этот феномен.

Как всегда бывает в чрезвычайных случаях, много говорили о предательстве, о подкупе. Разоблачения, имевшие место с тех пор, не оставляют никакого сомнения относительно причины этой первой неудачи, какую потерпела коалиция и следствием которой для Европы стала череда сражений, длившаяся более двадцати лет.

Государи считали предприятие, в какое вступали, настолько лёгким, что оно не внушило им мысли приостановить свои соперничества.

Пруссия и Австрия были ещё более заняты преимуществами, какие каждая из них могла получить, чем успехом кампании, главный результат которой казался им обеспеченным. Французские принцы и эмигранты, с которыми они совещались, передали им свою уверенность, беспрестанно повторяя, что достаточно будет принцу показаться, чтобы крепости открыли свои ворота, чтобы полки рассеялись, — и

если бы они даже не пришли, то, завидев его издалека, встали бы под древнее французское знамя.

Вышло так, что Австрия прежде всего занялась приобретениями, какие замышляла во Фландрии для расширения своих нидерландских провинций. А прорыв, произведённый в Шампани армией в 60–70 тысяч австрийцев и пруссаков под командованием герцога Брауншвейгского, был признан достаточным, чтобы вызвать во Франции контрреволюцию.

Но когда оказалось, что самые важные крепости сопротивляются предъявленным им требованиям и, по-видимому, расположены выдержать осады; когда увидели, что войска, которыми командовал Дюмурье, после того как выдержали первую атаку, обретают уверенность вместо того, чтобы рассеяться, герцог Брауншвейгский начал оглядываться вокруг. Дойдя до сердца Шампани, его армия сильно страдала от болезней, порождённых довольно дождливой осенью, она слабела с каждым днём. В случае бедствий он не видел иного выхода, кроме этого весьма узкого прорыва, через который вошёл, и через совершенно истощённую страну. Не с 60 000 человек, сказал он себе, можно отважиться продолжать марш на столицу с 800 000 душ, чьё население может быть доведено до отчаянной обороны и которая, впрочем, ещё прикрыта армией, много менее презренной, чем предполагали. Добавьте недовольство его государя, возмущённо-

го слабым содействием Австрии. Он решился вступить в переговоры с французским генералом. Дюмуре не затруднился условиями отступления, которого желал столь же живо, как и его противник.

Я вернулся в Париж с семьёй в течение ноября. Знание, какое я имел возможность приобрести о департаментах Севера, о тех, что составляли старые провинции Нормандии, Пикардии и Фландрии, заставило меня вернуться в этот город с горестным убеждением, что вплоть до ночи 10 августа, если бы можно было решиться поставить Короля во главе швейцарской гвардии, поддержанной двумя или тремя батальонами национальной гвардии, и отступить в эту часть Франции, ничто ещё не было потеряно ни для него, ни для его дела.

Облик департаментов, о которых я только что говорил, тем более заслуживает внимания, что сквозь столько разнообразных событий он мало изменился и остаётся почти тем же в момент, когда я пишу. То был не столь горячий роялизм, как в Вандее, но твёрдая привязанность к порядку, к долгу, к принесённой присяге; то было решительное отвращение ко всякому насилию. Там были, без сомнения, конституционалистами, но королевскую власть не отделяли от Конституции и тем более готовы были защищать первую, будучи твёрдо уверены, что её падение повлечёт за собой уничтожение вто-

рой.

Мне очевидно, что в момент, когда Людовик XVI пал, у него было гораздо больше приверженцев во Франции, чем когда он годом раньше предпринял своё отступление на Варенн. К несчастью, его истинное положение было ему неизвестно, и национальные чувства плохо оценивались в Тюильри. Так, от ошибки к ошибке, от несчастья к несчастью, мы оказались в конце 1792 года отданными без защиты замыслам победителей 10 августа и виновникам сентябрьской резни.

Процесс Короля был первым, чем они занялись. Стану ли я говорить об ужасных днях, какие мне довелось пережить в этом процессе? Да, без сомнения, ибо если когда-либо это сочинение будет опубликовано, если оно хотя бы сохранится в моей семье, я должен желать, чтобы не осталось неизвестным, что мы, отец мой и я, насколько это от нас зависело, способствовали защите нашего несчастного Короля. Отец мой, особенно близкий с семьёй г-на де Мальзерб[33], имевший в своей парламентской карьере частые сношения с гг. Тронше и Де Сезом[34], адвокатами Парижского парламента, естественно оказался в положении, позволявшем предложить ему своё содействие во всём, что от него зависело. Он вошёл в их тайные совещания и в течение всего хода прений находился в трибуне, отведённой защитникам Коро-

ля, делая с ними заметки, помогая им в их работе[^2].

Тем временем я не покидал публичных трибун и коридоров залы, разыскивая сведения, собирая малейшие признаки и принося их отцу, который сообщал их этим господам. Тогда-то, увидев своими глазами недостойные махинации г-на де Сен-Фаржо[35], я обрёл уверенность, что он более, чем кто-либо, способствовал смерти Короля.

В течение нескольких мгновений предавались иллюзиям. Улицы — кто бы поверил? — оглашались жалобами на судьбу Короля. Была одна на мотив «Бедного Жака»[36]; она заканчивалась словами: «Людовик не имел ни фаворита, ни любовницы»; но это волнение не имело силы преодолеть стены, окружавшие залу Конвента. Там холодно подсчитывали голоса.

В трибуне защитников Короля их рассчитывали по тому, что, как полагали, знали о мнениях каждого, по некоторым взятым обязательствам, и результаты этого расчёта были за оправдание. Особенно прекрасная душа г-на де Мальзерба не могла закрыться для надежды, она была ему нужна, чтобы поддержать свои силы.

В день суда я вижу его ещё отмечающим голоса в своей записной книжке по мере их произнесения, переходящим

от страха к надежде, от надежды к отчаянию. Слова, какие он произнёс у барьера, когда поименное голосование закончилось, достаточно доказывают, что до последнего момента ему было невозможно поверить в совершение столь великой несправедливости.

Среди ненавистей, его окружавших, Людовик XVI должен был погибнуть; но какая разница, если бы он пал лишь от клинка нескольких убийц! Тогда преступление принадлежало бы лишь небольшому числу отвергнутых презренных людей, преследуемых теми самими, кто их подстрекнул, и у нас не было бы тех цареубийц-конвентцев, которые, пока длилась их жизнь, отталкивали дом Бурбонов.

Некоторые попытки, которые могли, которые должны были быть сделаны, не были сделаны или были сделаны слишком поздно. Справедливые упрёки могут быть в этом отношении адресованы всем кабинетам Европы. Один человек сделал некоторые усилия; то был г-н Оскарис[37], испанский консул. Он не имел никаких инструкций от своего правительства, никаких средств, никаких фондов не было в его распоряжении. Я довольно часто встречал его у семьи Лекультё[38], и я знал его тяготы. Именно в этой семье он нашёл ресурсы. Ему ссудили довольно значительную сумму. Он приобрёл несколько голосов, но это усилие было ниже тех, какие нужно было предпринять. Нужно было привлечь

Дантона[39], Сантера[40], людей этой закалки. Несколько миллионов должны были быть на это употреблены, и, быть может, тогда...?

Мне остаётся сказать, что я присутствовал 21 января. Я жил в доме, выходившем на бульвар, на углу новой церкви Мадлен. Отец мой и я были с утра друг напротив друга, погружённые в свою скорбь, не имея силы произнести слово. Мы знали, что кортеж движется по бульварам.

Внезапно раздаётся довольно сильный шум. Я бросаюсь, движимый мыслью, что, быть может, совершается попытка освободить Короля. Как мог бы я до последнего момента не сохранять эту надежду? Я прихожу; то были лишь вопли неистовых, окружавших карету; я оказываюсь охваченным толпой, которая её сопровождала, которая увлекает меня до самой площади, несёт и как бы приковывает меня лицом к эшафоту. Так я претерпел это ужасающее зрелище.

Едва преступление было совершено, как крик «Да здравствует нация!» поднялся от подножия эшафота, был повторён от края до края; он прошёл через огромную толпу. За этим криком последовало самое глубокое, самое мрачное молчание. Стыд, ужас и страх уже парили над этим огромным пространством. Я пересёк его второй раз, увлечённый потоком, который меня принёс. Каждый шёл медленно, едва

осмеливаясь взглянуть друг на друга. Остаток дня прошёл в глубоком оцепенении: оно распространилось на весь город. Дважды я был вынужден выйти, и дважды находил улицы пустынными и безмолвными. Убийцы потеряли свою обычную дерзость. Всенародная скорбь заявляла о себе, они молчали перед ней. Они уважали её, по крайней мере, пока длился этот день, но перемирие было недолгим, и убийство г-на де Сен-Фаржо, показав им неизбежность личной опасности, вскоре вернуло их жестокости её привычную энергию.

С января по май я влачил в Париже своё тяжёлое существование. В эту пору я выехал оттуда один, чтобы вернуться в Абвиль, за несколько дней до 31 мая. Была тысяча причин, по которым, попав в руки комиссаров, обязанных собирать подозрительных, я не избежал бы участи, становившейся уже весьма обычной. Тогда-то тюрьмы начали наполняться.

Ярость революционеров возбуждалась умножавшимися опасностями; менее чем за четыре месяца ей пришлось претерпеть измену Дюмуре и восстание Лиона. Крепость Конде была взята коалиционными войсками, что утвердило их в сорока лье от столицы; с другой стороны, восстание Вандеи приобрело благодаря взятию Сомюра весьма серьёзный характер, и наконец в Кальвадосе организовывалась департаментская армия под руководством подозрительных, сумевших уклониться от проскрипции 31 мая; эта армия готови-

лась идти на Конвент. То была величайшая опасность, какой он когда-либо подвергался; она была предотвращена, потому что в Бретани и Нормандии очень быстро узнали, что эти депутаты не добиваются восстановления королевской власти. Это открытие парализовало усилия, которые в первый момент были сделаны в их пользу. Они сами признали это в оставленных ими сочинениях.

С марта революционные трибуналы были организованы, как и Комитеты общей безопасности и общественного спасения. Эмигранты, аристократы, враги Революции были поставлены вне закона, и революционная армия была специально поручена их преследовать и настигать.

Закон о подозрительных[41] распространял обширную сеть, от которой никто не мог льстить себя надеждой ускользнуть. Повсюду открывались новые тюрьмы, и их едва хватало на толпу несчастных, каких в них нагромождали. Конвент разослал по всем пунктам Республики депутатов, выбранных из самого свирепого и самого порочного, что включала в себе Гора. Франция была отдана без защиты этим представителям народа, облечённым самыми обширными полномочиями и располагавшим по своему усмотрению свободой и жизнью любого человека, какому им угодно было назвать контрреволюционером.

Во всех департаментах, во всех городах они находили для покорного совершения своих неистовств тридцать презренных людей, все или почти все вышедшие из подонков народа, едва умеющие подписать своё имя, но облечённые званием членов революционного комитета. Для исполнения приказов они призывали эту инертную массу граждан, которая умеет лишь стонать и повиноваться, и так в течение восемнадцати месяцев тот самый, кого должны были арестовать завтра, был употреблён для вчерашних арестов, а тот, кому предстояло погибнуть на следующей неделе, эскортировал до эшафота с пикой на плече жертв текущей недели. Офицеры, солдаты, генералы, администраторы, богатые, бедные — все трепетали перед современными проконсулами, и всякий, у кого были средства бежать, бежал при их приближении. Но как трудно было от них ускользнуть, когда принадлежал к проскрибированному классу! Я сначала нашёл в Абвиле довольно надёжное убежище благодаря доброму и человеческому характеру жителей этого города и окрестных мест; но пришлось оттуда удалиться, как только приблизились представители Лебон и Андре Дюмон[42], которым было поручено искоренить в департаментах, составлявших старую Пикардию, дурной дух, якобы там царивший; я должен был, не колеблясь, поспешно скрыться.

Я вернулся в окрестности столицы и укрылся в деревне Шампиньи, что в трёх лье от неё. Я занимал комнату, кото-

рую мне достал хирург коммуны в замке бывшего эмигранта-сеньора, чьи владения стали национальными. Этот замок был занят довольно большим числом крестьян, которые, как и я, нашли там приют, сняв у муниципалитета помещения, у которых ещё оставались двери и окна.

Из этого убежища я иногда решался переступить заставы Парижа, куда приезжал навестить мою семью. Я даже был вынужден оставаться там несколько дней подряд из-за устройства моего брака. Когда оглядываешь события той эпохи, когда думаешь о жизни, какую вели, об опасностях, которыми были постоянно окружены, обо всём, что должно было разбить душу и разорвать сердце, с трудом понимаешь, как можно было думать о чём-то другом, кроме этих опасностей, как осмеливались думать о женитьбе.

Провидение приберегает людям помощь, соразмерную испытаниям, какие им посылает, и та, какую оно им давало в этих ужасных встречах, состояла главным образом в способности забываться среди самых несомненных опасностей. Эта способность, казалось, росла по мере того, как они становились более грозными. То была, конечно, не покорность, это была бы добродетель; но добродетель — не частое явление. Я не убоился опасностей, сопровождавших даже формальности брака. С помощью нескольких второстепенных покровителей, доставивших мне возможность явиться в муници-

палитет с самого рассвета, когда ещё было мало присутствующих, с предосторожностью взять в свидетели лишь старых слуг, я счастливо вышел из этого трудного предприятия.

Тогда был лишь один муниципалитет, чьи заседания происходили в Ратуше[43] и где совершались все браки. Брак одного узника по подозрению должен был состояться в тот же час, что и мой. Ему дали разрешение выйти из тюрьмы в сопровождении двух стражей на время, необходимое для церемонии. У него, по-видимому, были сильные причины столь дорожить тем, чтобы связать себя словом, и первой из всех было, быть может, предвидение близкого конца. Мы не знали никаких подробностей его частного положения, но оно тем не менее было весьма трогательным и произвело на нас живое впечатление. Эта церемония была мрачным сопровождением нашего бракосочетания, которое, как видно, было окружено малой пышностью; его пришлось скрывать с такой же тщательностью, какую в другие времена вложили бы в сокрытие дурного поступка.

Брачное благословение нам дал аббат Саламон[44], советник-клирик Парижского парламента. Он был родом из Авиньонского конта[45] и тайно получил от Римской курии полномочия нунциатуры. Он дал нам диспенсации, в которых мы нуждались, ввиду степени родства, уже нас соединявшей. Я остался с женой в Шампиньи, скрывая, как могли, наше

скромное счастье.

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

[1] ****Клуб Валуа (Club de Valois).** Политический клуб, основанный в 1789 году в Пале-Рояле; отличался относительной терпимостью к разным мнениям. Паскье посещал его регулярно. Клуб прекратил существование в 1793 году.

[2] ****Пале-Рояль (Palais-Royal).** Дворец в Париже, принадлежавший герцогу Орлеанскому; в эпоху Революции — центр общественной и политической жизни. Сад Пале-Рояля был местом встреч, агитации и развлечений; здесь располагались кафе, игорные дома, театры и книжные лавки.

[3] ****Камиль Демулен (Camille Desmoulins, 1760–1794).** Французский журналист и политический деятель, один из лидеров Революции. 12 июля 1789 года призвал к восстанию в Пале-Рояле; 14 июля — к штурму Бастилии. Казнён при Терроре вместе с Дантоном.

[4] ****Телохранители (gardes du corps).** Королевская гвардия, охранявшая особу короля. Во время похода на Версаль 5–6 октября 1789 года несколько гвардейцев были уби-

ты; их головы были выставлены на пиках и пронесены перед кортежем.

[5] **Аббат Фоше (Claude Fauchet, 1744–1793).** Французский церковный и политический деятель, конституционный епископ; в 1789 году — один из ораторов Пале-Рояля. Казнён при Терроре. В оригинале мемуаров — опечатка `Fouché` вместо `Fauchet`; в переводе исправлено на «Фоше».

[6] **Д'Эпремениль (Jean-Jacques Duval d'Épréménil, 1745–1794).** Французский магистрат, советник Парижского парламента, один из лидеров парламентской оппозиции. В 1787–1788 гг. пользовался огромной популярностью; в 1791 году был атакован толпой, спасён национальной гвардией. Казнён при Терроре.

[7] **Петион (Jérôme Pétion de Villeneuve, 1756–1794).** Деятель Французской революции, мэр Парижа в 1791–1792 гг. Умер в 1794 году, скрываясь от Террора.

[8] **Клуб якобинцев (Club des Jacobins).** Политический клуб, основанный в 1789 году; первоначально — общество «Друзей конституции», заседавшее в монастыре якобинцев. Стал центром революционного движения.

[9] **Клуб кордельеров (Club des Cordeliers).** Полити-

ческий клуб, основанный в 1790 году; заседал в монастыре кордельеров. Отличался радикализмом; среди его членов — Дантон, Марат, Эбер.

[10] **Виконт де Ноай (Louis-Marie de Noailles, 1756–1804).** Французский военный и политический деятель, депутат Учредительного собрания; участник Войны за независимость США. В 1792 году командовал армией в Бельгии; эмигрировал, вернулся при Наполеоне.

[11] **Генерал Диллон (Arthur Dillon, 1750–1794).** Французский генерал ирландского происхождения; командовал армией, вторгшейся в Бельгию в 1792 году. Казнён при Терроре.

[12] **Комитет общей безопасности (Comité de sûreté générale).** Один из комитетов Конвента, ведавший полицией и репрессиями. Учреждён в 1792 году; в эпоху Террора — один из главных инструментов репрессий.

[13] **Покушение 20 июня 1792 года.** Народное выступление в Париже, во время которого толпа ворвалась в Тюильри и потребовала от Людовика XVI отмены вето и восстановления министров-жирондистов. Король был вынужден надеть красный колпак и выпить за здоровье нации.

[14] **Манюэль (Pierre-Louis Manuel, 1751–1793).**
Прокурор-синдик Парижской коммуны; казнён при Терро-
ре.

[15] **Г-жа де Фонтене, впоследствии г-жа Тальен (Thérèse Cabarrus, 1773–1835).** Французская аристократка испанского происхождения; жена Жана-Ламбера Тальена, одна из самых знаменитых женщин эпохи Революции. Известна как «Богоматерь Термидора»; способствовала падению Робеспьера. Впоследствии вышла замуж за принца де Шиме.

[16] Пани и Сержан. Пани (Étienne-Jean Panis, 1757–1832) и Сержан (Antoine-François Sergent, 1751–1847) — французские политические деятели, члены Парижской коммуны, администраторы полиции. В оригинале мемуаров стоят именно их имена — Panis et Sergent. Описанная Паскье сцена относится к празднику Федерации 14 июля 1792 года (третьему по счёту). Толпа, у которой на шляпах было написано «Да здравствует Петион!», приветствовала Петиона — другого деятеля Революции; это не означает, что Петион ехал верхом вместе с Пани и Сержаном.

[17] **Г-н де Воблан (Vincent-Marie Viénot de Vaublanc, 1756–1845).** Французский политический деятель, председатель Законодательного собрания в 1792 году; впослед-

ствии министр внутренних дел при Реставрации.

[18] ****Г-н Рёдерер (Pierre-Louis Rœderer, 1754–1835).** Французский политический деятель и публицист; прокурор-синдик департамента Сены в 1792 году. Впоследствии сенатор при Наполеоне, пэр Франции при Июльской монархии.

[19] ****Батальон марсельцев.** Отряд добровольцев из Марселя, прибывший в Париж в июле 1792 года; участвовал в штурме Тюильри 10 августа. С ним связана песня «Марсельеза».

[20] ****Итальянская комедия (Comédie italienne).** Театр в Париже, специализировавшийся на итальянских комических операх; в XVIII веке — один из главных театров столицы.

[21] ****Г-жа Дюгазон (Louise-Rosalie Lefebvre, dite Mme Dugazon, 1755–1821).** Французская актриса и певица, одна из ведущих артисток «Опера-Комик» и «Комеди-Итальян».

[22] ****Мёнье (Jean-Baptiste Meunier).** Французский актёр и певец; выступал в «Комеди-Итальян».

[23] **«Непредвиденные события» (Les Événements imprévus).** Комическая опера Андре Гретри (1779); пользовалась большим успехом.

[24] **Герцог Брауншвейгский (Charles-Guillaume-Ferdinand, duc de Brunswick, 1735–1806).** Прусский генерал, командующий союзной армией, вторгшейся во Францию в 1792 году. Автор манифеста, угрожавшего Парижу уничтожением; манифест вызвал обратную реакцию и способствовал революционному подъёму.

[25] **Полк швейцарской гвардии (Régiment des gardes suisses).** Наёмные войска из Швейцарии, служившие французской короне; отличались дисциплиной и верностью. 10 августа 1792 года почти полностью погибли, защищая Тюильри.

[26] **Принц де Сен-Морис.** Французский аристократ; сведений о нём сохранилось мало. Казнён при Терроре.

[27] **Г-н де Шансене (François de Champcenetz).** Французский аристократ, комендант Тюильри в 1792 году; сведений о нём сохранилось мало.

[28] **Малая почта (petite poste).** Городская почта Парижа, доставлявшая письма в пределах города.

[29] **Дюко (Pierre-Roger Ducos, 1747–1816).** Французский политический деятель, депутат Законодательного собрания и Конвента; впоследствии член Директории и участник переворота 18 брюмера.

[30] **Г-жа Ролан (Manon Roland, 1754–1793).** Французская писательница и политическая деятельница, жена жирондиста Жана-Мари Ролана; хозяйка салона, игравшего важную роль в политической жизни. Казнена при Терроре. Её «Мемуары» — важный источник по истории Жиронды.

[31] **Гранжнёв (Étienne-Jean-Baptiste Grangeneuve, 1750–1793).** Французский политический деятель, депутат Законодательного собрания; жирондист. Казнён при Терроре. План, о котором пишет Паскье, — самопожертвование одного из жирондистов для возбуждения народа против Двора — не был осуществлён.

[32] **Сентябрьские убийства (Massacres de septembre).** Массовые убийства заключённых в парижских тюрьмах 2–6 сентября 1792 года; погибло около 1200 человек. Одно из самых мрачных событий Революции.

[33] **Мальзерб (Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, 1721–1794).** Французский государственный

деятель, защитник Людовика XVI на процессе (1792–1793); казнён при Терроре.

[34] ****Тронше и Де Сез.**** Тронше (François-Denis Tronchet, 1726–1806) — французский юрист, председатель кассационного суда; Де Сез (Raymond de Sèze, 1752–1828) — французский юрист, защитник Людовика XVI. Оба защищали короля на процессе.

[35] ****Сен-Фаржо (Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, 1760–1793).**** Французский политический деятель, голосовавший за казнь короля; убит 20 января 1793 года.

[36] ****«Бедный Жак» (Pauvre Jacques).**** Народная песня, популярная в XVIII веке; мелодия использовалась для различных текстов, в том числе политических.

[37] ****Г-н Оскарис.**** Испанский консул в Париже в 1793 году; сведений о нём сохранилось мало. Паскье упоминает его попытку подкупить голоса депутатов Конвента для спасения Людовика XVI.

[38] ****Семья Лекультё.**** Французская семья, связанная с Паскье; сведений о ней сохранилось мало.

[39] ****Дантон (Georges Jacques Danton, 1759–1794).****

Французский политический деятель, один из лидеров Революции; министр юстиции в 1792 году. Казнён при Терроре.

[40] **Сантер (Antoine-Joseph Santerre, 1752–1809).**
Французский пивовар и политический деятель, командующий национальной гвардией Парижа; руководил казнью Людовика XVI.

[41] **Закон о подозрительных (Loi des suspects).** Де-
крет Конвента от 17 сентября 1793 года, предписывавший
арест всех «подозрительных» лиц; один из главных инстру-
ментов Террора.

[42] **Лебон и Андре Дюмон.** Лебон (Joseph Le Bon,
1765–1795) — представитель Конвента в департаментах Нор
и Па-де-Кале; отличался крайней жестокостью; казнён по-
сле Термидора. Андре Дюмон (André Dumont, 1764–1836)
— представитель Конвента в Пикардии; впоследствии депу-
тат, сторонник Наполеона.

[43] **Ратуша (Hôtel de ville).** Здание парижского му-
ниципалитета; место заседаний Парижской коммуны.

[44] **Аббат Саламон.** Французский священник, совет-
ник-клирик Парижского парламента; сведений о нём сохра-
нилось мало.

[45] **Авиньонский конта (Comtat d'Avignon).** Область на юге Франции, принадлежавшая папскому престолу; присоединена к Франции в 1791 году.

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

[^2] См. об этом факте сказанное на с. 401 второго тома «Истории процесса Людовика XVI», опубликованной в 1814 году Морисом Межаном.

Глава 5

ГЛАВА ПЯТАЯ

Заключение в тюрьму г-на Паскье-отца. — Тюрьма как убежище. — Свидетельства о местожительстве и о гражданственности. — Злоключения советника Паскье, укрывшегося в Монже, близ Жюйи. — Великодушные чувства парижской буржуазии. — Г-жа Таво. — Гражданка Мотте. — Признательность Левассёра: портрет этого конвентца. — Гражданин Феликс, брат Лепелетье де Сен-Фаржо. — Суд и казнь г-на Паскье-отца. — Арест советника Паскье в Амьене. — Его водворение в Сен-Лазар 8 термидора вместе с г-жой Паскье. — Тюрьма при Терроре. — 9 термидора. — Освобождение узников. — Фукье-Тенвиль перед судом и на эшафоте. — Овация, устроенная Тальену и г-же Тальен в театре Одеон. — Франция после термидора. — Вандейцы. — Существование г-на и г-жи Паскье в Круасси. — Их отношения с Жозефиной де Богарне. — Г-жа де Богарне старшая, невестка Жозефины. — Чрезмерная дороговизна припасов; голод.

Хлопоты, которых потребовала моя женитьба, мало приучили меня к пребыванию в столице. Я приезжал туда время от времени провести день с отцом. В один из таких дней,

когда мы вместе обедали, прибежал аббат Саламон[1] предупредить нас, что постановление каникулярной палаты[2] было выдано камердинером г-на де Розамбо[3] и что Комитет общей безопасности[4] тотчас отдал приказ арестовать всех подписавших эту бумагу, а вместе с тем и нескольких других советников Парламента.

Г-н Саламон считал меня в числе этих последних. Он собирался скрыться, и у него хватило мужества исколесить город вдоль и поперёк, чтобы предупредить тех из своих коллег, о которых он знал, что они ещё там проживают. Этот акт преданности был тем более достоин признания, что никто не подвергался большей опасности, чем он, ввиду религиозных обязанностей, какие он тайно исполнял уже несколько месяцев и обнаружение которых не могло не привести его прямо на эшафот. Он убеждал нас бежать, не терять ни мгновения, чтобы скрыться.

Итак, мы расстались, отец и я, после того как обнялись, почти не имея силы произнести слово; мы больше никогда не виделись. Я вернулся в Шампиньи. Он отправился скрываться в Ла-Мюэт[5], где занимал небольшую квартиру в течение предыдущего лета; два дня спустя он добровольно сдался, из страха, что мою мать арестуют вместо него.

Едва войдя в предназначенную ему тюрьму, где находи-

лись г-н де Мальзерб[6], вся семья Розамбо и множество его друзей, он испытал чувство облегчения, которое лучше всяких слов рисует ужас жизни, на которую мы были обречены в течение года. Вне тюрьмы, в самом деле, не осмеливались встречаться, видаться, разговаривать, почти смотреть друг на друга, так боялись скомпрометировать друг друга; родные, самые близкие друзья жили в полной изоляции. Если слышали стук в дверь — тотчас предполагали, что пришли комиссары революционного комитета, чтобы вас увести. За засовами, напротив, оказывались как бы вновь возвращёнными к общественной жизни; были окружены родными, друзьями; видели их без стеснения, свободно с ними беседовали.

Великие судебные бойни (это было в январе 1794 года) ещё не начались. Однако редко проходило несколько дней, чтобы не пало несколько жертв, но число узников было столь велико, что опасность для каждого казалась достаточно отдалённой. Наконец, раз попав в тюрьму, многие кончали тем, что считали себя там в большей безопасности, чем снаружи. Там их уже не могли, так они, по крайней мере, думали, обвинить в заговоре, и если вражеские армии делали большие успехи, как можно было довольно основательно предполагать, они, быть может, были там более, чем где-либо, защищены от народных яростей.

Эти впечатления подействовали на ум отца столь могущественно, что через несколько дней, найдя способ доставить мне письмо, он убеждал меня поразмыслить о моём положении, посмотреть, не в сто ли раз хуже жизнь, какую я веду и которую он знал по опыту, чем его собственная; затем, предполагая случай, что я приму решение дать себя арестовать, он предупреждал меня о договорённости, какую заключил с тюремным привратником, чтобы сохранить за собой одному ещё на несколько дней комнату, которую он занимал и где мы могли бы жить вместе.

Я воспротивился и через несколько дней покинул деревню Шампиньи. Я отправился с женой искать другое убежище в Монже, в десяти лье от Парижа, близ Жюйи, старого коллежа ораторианцев, где я был воспитан. Не стану перечислять все мои злоключения в конце этой зимы; они похожи на столько других, рассказанных повсюду!

Честный хозяин, дававший мне приют, имевший мужество меня укрывать, был человеком, полным человечности, самого лучшего и самого лёгкого характера. Патриот в 1789 году, он ещё немного им оставался, хотя и ненавидел акты жестокости, совершавшиеся ежедневно; ему нужно было для своего покоя как можно меньше в них верить и если не оправдывать их, то по крайней мере объяснять. Так, каждый раз, когда «Монитор»[7] приносил нам список тех, кто пал

под революционным топором, он искал в предшествующей их жизни, в мотивах их осуждения причину, которая могла бы сделать его менее несправедливым. То был, по его словам, всегда какой-нибудь особый случай, не влекущий никаких грозных последствий для тех, кто не находился в подобном случае. Этот способ рассуждения возбуждал между нами самые живые споры, что не мешало ему продолжать давать нам приют, как и другой семье, чьё положение было весьма схоже с нашим и которая не шла на компромиссы со своими слабостями больше, чем я.

Счастлив, тысячу раз счастлив был бы я, если бы мне пришлось выносить лишь это тягостное противоречие: но каждый день усугублял трудности моего положения. Из опасения подвергнуть отца новой опасности — обвинению в том, что он отец эмигранта, — я должен был каждые три месяца отправлять матери свидетельства о местожительстве, какие она могла бы предъявить в случае нужды. Но вышел закон, налагавший на меня обязанность получить такое свидетельство новой формы, которое должно было восходить к 1790 году. Чтобы подчиниться этой необходимости, мне пришлось вернуться в Париж. Мне посчастливилось преодолеть это новое испытание и вырваться из рук двух революционных комитетов.

Я не могу умолчать, до какой степени я нашёл помощь и

поддержку в столь достойном классе парижской буржуазии. Не имея возможности без опасности найти приют ни в доме отца, ни в какой-либо меблированной гостинице, я поочерёдно скрывался у нескольких торговцев на улицах, где я жил, и в особенности у некой г-жи Таво[8], торговли галантереей, жившей у ворот дома, который моя семья так долго занимала на улице Бур-л'Аббе. Её муж был арестован два или три месяца назад и весьма скомпрометирован тем, как он показал себя 10 августа в батальоне национальной гвардии, к которому принадлежал. Но г-жа Таво не только приютила меня на две-три ночи — она приняла все мыслимые меры, чтобы найти нужных мне свидетелей. Большинство тех, кого она мне доставила, не знали меня никоим образом, и однако, по одному её слову, они, чтобы выручить меня, рискнули скомпрометировать себя самым серьёзным образом. Так я собрал плод нескольких небольших услуг, оказанных в иные времена моими близкими.

Я только что получил наконец одно из тех драгоценных свидетельств о местожительстве, за которыми бегал. Оно было выдано на общем собрании секции, заседавшей в церкви Троицы[9]. Я был на выходе, когда ко мне подошёл маленький человечек с кротким видом и отвёл меня в сторону под предлогом, что ему нужно сказать мне два слова. Я последовал за ним доверчиво, приняв его за одного из тех свидетелей, которых мне доставили и которых я не знал. То

был член революционного комитета, который без дальнейших околичностей передал меня, в двух шагах оттуда, в руки караульного. Тот получил приказ отвести меня в Комитет, где я оставался под его охраной до того момента, как собрались все члены: тотчас допрошенный, я не мог легко скрыть, что был бывшим советником Парижского парламента, что отец мой уже арестован. Следовательно, не было сомнения, что я — хорошая добыча, и мне объявили, несмотря на все мои представления, что меня отправят в Люксембургскую тюрьму[10].

Поскольку нужно было составить приказ об аресте и распоряжение о заключении, меня, пока шла эта работа, заставили пройти в залу, где я вновь оказался под охраной того же часового. На моё счастье, туда почти в тот же миг вошла женщина, молодая, довольно приятной внешности. У неё был очень весёлый вид, и, найдя меня весьма опечаленным, она не могла удержаться, чтобы не обратиться ко мне по поводу моей жалкой физиономии. Мне было легко признать её правоту. Когда я рассказал ей своё дело: «Как! — сказала она мне. — Против тебя нет ничего личного, и они хотят отправить тебя в тюрьму, потому что ты сын своего отца! Но это же не имеет здравого смысла; подожди, я с ними поговорю». И — стук в дверь Комитета, властно заставила её открыть, вошла как к себе домой. А эта женщина была не кто иная, как гражданка Мотте[11], супруга председателя Комитета и все-

могущая над своим мужем, который, со своей стороны, полностью направлял своих коллег. Вскоре я услышал довольно оживлённый спор, в котором голос г-жи Мотте господствовал. Наконец она вышла, говоря мне, что сделала всё возможное и что моё дело, быть может, уладится. Когда сердце женщин доброе, оно почти всегда превосходно.

В самом деле, меня ввели обратно, и я был допрошен вновь, но на этот раз с гораздо большей тщательностью и подробностями. Тогда-то счастливо выяснилось, что я никогда не состоял в национальной гвардии Лафайета, губительной для свободы. Наконец председатель сказал мне, что, поскольку против меня нет никакого личного обвинения, Комитет был бы довольно склонен меня освободить, если я смогу найти какого-нибудь доброго патриота, который согласился бы за меня поручиться; и, поискав несколько мгновений, я ощутил, как имя Левассёра[12] пришло мне на уста, и произнёс его. Оно вызвало большое удивление; не могли поверить, что я прибегаю к такому свидетельству, но так как я настаивал, решили, что два члена Комитета отведут меня на следующее утро к представителю народа, а тем временем я проведу ночь в «скворечне»[13].

Так называли временную тюрьму, примыкавшую к каждому караульному помещению. Оттуда я нашёл способ написать матери и сестре, которых известил о своём печальном

положении и о принятом решении обратиться к Левассёру.

На следующее утро, в шесть часов, они были у него. Левассёр, превосходный хирург, но с мало приятной внешностью и довольно суровым характером, хотя и не лишённый благородных качеств, поначалу мало преуспевал в городе Ле-Мане, где практиковал своё искусство. Отец и мать мои оценили его лучше, чем его сограждане, постарались выдвинуть его и наконец добились установления его репутации. Он был за это весьма признателен, стал одним из самых обычных завсегдатаев замка Кулан и был приобщён матерью ко всем заботам, какие она оказывала и заставляла оказывать бедным жителям на своей земле. Его почитание её и привязанность к отцу проявлялись с тех пор при всяком случае, и во время тяжёлой болезни отца он не покидал изголовья его постели более месяца и весьма вероятно спас ему жизнь. Когда разразилась Революция, он бросился в неё с горячностью, которая также должна была повлиять на его привычки, и с того момента его стали видеть гораздо реже.

Беспорядки, вскоре охватившие провинцию Мен — одну из самых беспокойных в ту пору, — почти полностью удалили от неё мою семью в течение 1790, 1791 и 1792 годов. В момент, когда собрался Конвент, мы были вне Парижа, а когда вернулись туда, Левассёр уже успел отметить насильем, не позволявшим ему поддерживать с нами малейшие

отношения. Вскоре после того он голосовал за смерть Людовика XVI, и этот голос воздвиг между нами непреодолимую преграду. Он был облечён несколькими миссиями при армиях и исполнял их с рвением и энергией, ещё чрезвычайно увеличившими его революционную репутацию; вот каков был человек, к которому моя мать и сестра должны были обратиться. Он принял их с явным замешательством; затем, после нескольких фраз о трудности того, что у него просили: «Но однако, — добавил он, обращаясь к моей матери, — есть нечто ещё более трудное, сударыня: это отказать вам в чём бы то ни было. Я сделаю, что смогу». Меня привели к нему между восемью и девятью часами утра. Первый приём был почти грубым. Едва ли он сделал вид, что меня узнаёт. Затем несколько весьма грубых фраз об аристократах, о контрреволюционерах, об отвратительном духе старых дворян, особенно старых парламентских советников. Мои провожатые плохо предвещали мне из-за этого начала, и их физиономии странно омрачились. «Однако, — добавил он, — нужно быть справедливым ко всем, даже к этим людям, и что до этого, я хорошо помню, как, беседуя с моим другом, мучеником свободы (Лепелетье де Сен-Фаржо), за несколько дней до его убийства, и говоря именно об этом отвратительном Парижском парламенте, который он знал лучше, чем кто-либо, он мне прямо сказал, что среди ста двадцати его членов не встречается более семи или восьми, с которыми возможно было бы говорить разумно, которые были бы в

состоянии его понять, и среди этих семи или восьми он назвал мне гражданина Паскье. Это свидетельство внушительно, но вам его оценивать».

Замешательство среди членов моего революционного комитета было велико, когда они услышали произнесение такого имени и увидели, что его призывают в мою пользу. Состоялись ещё некоторые переговоры, но краткие; у представителя народа было много дел, и нам пришлось быстро удалиться; уже было условлено, что меня можно отпустить. Однако я ещё не был в конце своих злоключений. Левассёр жил на улице Сент-Оноре, рядом с якобинцами, и, выходя от него, когда мы проходили по Вандомской площади, мои два спутника вообразили, что раз я в таком добром расположении у мученика свободы, то должен быть также знаком с его братом, гражданином Феликсом[14]. А гражданин жил на этой площади, и они предложили мне — чего я не осмелился отклонить — пойти с ними попросить его к завтраку. Его не было дома, и это было для меня большим счастьем, ибо не было человека, более мне враждебного.

Избежав этой опасности, я полагал, что мне осталось лишь забрать свои бумаги из Комитета, затем проститься и вернуться в своё убежище в полях. Увы! Нет. Мне объявили, что бумаги мне вернут лишь на следующее утро. Какие-то подозрения ещё витали в умах. Решили прибегнуть к допол-

нительному дознанию у гражданина Феликса. То был самый чувствительный удар, какой мог меня постичь: после долгих колебаний и следуя совету матери и сестры, я решился на шаг к нему. Я вернулся на Вандомскую площадь: мне сказали в доме гражданина, что он, вероятно, не вернётся в течение дня; но если я спешу его увидеть, я найду его у его племянницы, на улице Кюльтюр-Сент-Катрин, где он обычно обедал. Я не поколебался тотчас отправиться на другой конец города.

Но здесь необходимо дать представление о костюме, в который я был облачён и который состоял из того, что тогда называли «карманьолой», то есть короткой куртки и панталон из той же ткани. Эта ткань, как я её носил, была самой обыкновенной — грубая тёмно-коричневая шерстяная материя с длинным ворсом. Поскольку уже три или четыре дня я не переставал бегать по улицам по грязи и под дождём, а к тому же у меня не было времени позаботиться о туалете, грязь покрывала меня выше колен. Итак, вот в каком виде я явился в особняк мадемуазель Лепелетье, на улице Кюльтюр-Сент-Катрин.

Я спросил её дядю; он не пришёл, но полагали, что он не замедлит. Я попросил разрешения — в котором мне не отказали — подождать его в привратничкой, у печки. Я сидел там спокойно, когда, после нескольких хождений из привратниц-

кой в особняк, я увидел молодого лакея в карманьоле, как и я, но какой карманьоле! Самой опрятной, самой элегантной, какую только можно вообразить.

«Гражданин, — сказал он мне, — гражданка Лепелетье только что узнала, что здесь есть санкюлот, ожидающий её дядю; она не может потерпеть, чтобы он оставался в этом помещении, и просит его соблаговолить пройти в салон». Я хотел уклониться от этой чести, но после второго послания пришлось уступить, и я вошёл в эти прекрасные и большие покои, которые столько раз проходил в иные времена.

Я нашёл в одной из маленьких комнат в конце длинной анфилады мадемуазель Лепелетье, которая едва вышла из детского возраста, но казалась весьма развитой для своих лет. Рядом с ней была гувернантка весьма почтенного вида, принявшая меня с большим количеством любезностей. Разговор, как легко себе представить, был довольно затруднительным. Я оставался там два смертельных часа. Было ясно, что гражданин Феликс не придёт обедать в тот день; итак, я наконец простился и удалился весьма разочарованным, когда гувернантка догнала меня в одном из салонов и сказала мне, прося извинить её нескромность, что она сильно ошибается, если я ей не знаком; что, быть может, у меня есть нечто важное сказать или попросить у дяди её воспитанницы, и что, если я не боюсь довериться ей, она предлагает мне свои услу-

ги. Не было способа противиться такой любезности. Я назвал ей своё имя, и тотчас посыпались восклицания о том, что она не ошиблась, полагая, что меня узнаёт. Она так хорошо помнила, как видела меня приходившим столько и столько раз в этот особняк с моим дедом и отцом! Затем, узнав, что мне нужно просить у гражданина Феликса, она просила меня быть спокойным, что он непременно придёт вечером, что он ни в чём не может отказать своей племяннице и что я буду ей ему так рекомендован, что он не сможет не поступить, как должно.

Дела, в самом деле, на следующий день пошли так, как я мог желать, но без того, чтобы я узнал какие-либо подробности. После этой последней консультации революционный комитет более не колебался вернуть мне мои свидетельства о местожительстве, а также мой паспорт, на который он также наложил руку и который соблаговолил завизировать. Я отбыл на следующее утро в Монже, имея более, чем когда-либо, оснований благословлять Провидение, ещё раз вырвавшее меня из этой опасности.

Желая поблагодарить добрых граждан, столь великодушно послуживших мне свидетелями, г-жа Таво указала мне одного, чей род занятий состоял в изготовлении и продаже кокард и полицейских колпаков. Она советовала мне купить у него один. Я не преминул это сделать и попросил его вы-

брать и дать мне самое красивое, что у него было. Он представил мне великолепный полицейский колпак, чей свисающий верх образовывал красный колпак, а синий край был украшен с одной стороны портретом Марата[15], с другой — мученика свободы. Я, разумеется, не преминул принять такой выбор, и на следующий день, когда мне надо было пройти заставу в публичной карете в Даммартен[16], поскольку этот проход никогда не обходился без некоторой опасности, я счёл уместным добавить к гарантии моего паспорта гарантию великолепного колпака, которым я украсился.

Если он произвёл на пост у заставы желаемое мной действие, то, напротив, не преминул ужаснуть всех моих бедных спутников по путешествию, которые в течение одного или двух лье считали, что среди них находится по крайней мере какой-нибудь комиссар Комитета общей безопасности. Наконец, однако, их ошибка рассеялась к их великому облегчению, и при обстоятельстве не менее необыкновенном. Эта карета везла также члена Конвента, и кто бы поверил? — тот был лучшим из людей, некий Байи[17], бывший ораторианец, у которого я прошёл часть учения в Жюйи и который с тех пор женился в Даммартене. Он был покровителем всего кантона, и несколько путешественников, находившихся в нашей дилижансе, буквально жили под его крылом.

Мы кончили тем, что узнали друг друга, и, когда увидели,

что я нахожусь с ним в своего рода близости, мнения обо мне вскоре приняли другой оборот; путешествие закончилось, таким образом, для всех при гораздо лучших предзнаменованиях, чем началось.

Позже я вновь встретил Левассёра. В 1799 году он вернулся в свой родной город, бедный и обременённый семьёй, не имея иного ресурса, кроме своих знаний хирурга, ибо его честность среди революционных бурь всегда оставалась незапятнанной. Ему было трудно жить из-за отчуждения, какое он внушал всем классам общества, способным достойно оплачивать оказываемые им услуги.

Я вернулся в землю отца; нуждаясь в уходе, я не был из тех, кто мог, после услуги, какую он мне оказал, держать строгость к Левассёру. Я послал за ним; он не пришёл и направил ко мне другого хирурга, поручив ему сказать, что лучше и для него, и для меня, чтобы мы никогда больше не виделись.

Так было бы, по всей видимости, без дурной услуги, оказанной ему префектом, которого Наполеон во время Ста дней послал в департамент Сарта. Левассёр имел слабость принять не знаю какие предложенные ему должности, которые однажды заставили меня встретить его в особняке префектуры. Мы обменялись лишь несколькими словами про-

стой вежливости, которые он, впрочем, сократил, насколько мог. Шесть месяцев спустя он был поражён законом, провозгласившим изгнание всех цареубийц. Он удалился тогда в Бельгию, где занятие его профессией, быть может, позволило ему жить менее несчастно, чем было бы во Франции. Всегда верный своему непреклонному характеру, он только что опубликовал «Мемуары», где впервые встречается прославление поведения конвентцев, установивших в 1793 и 1794 годах режим Террора.

Мне нет нужды говорить, с каким счастьем я вновь оказался в деревне Монже, чья тишина контрастировала со страстями, царившими в Париже. Я ещё жил в этой мирной деревне во время пасхальных праздников, в эпоху казни всех парламентских советников, которые в 1789 и 1790 годах составляли каникулярную палату в Париже, — г-на де Мальзерба и его семьи. Именно в Жюйи, в тех местах, где некогда столь счастливо протекли дни моего детства, я узнал о постигшем меня ударе. О смерти отца мне сообщили ораторианцы, ещё жившие в этом доме, многие из которых способствовали моему воспитанию и через которых одних я ещё сохранял какие-то отношения с остальным миром. Участие, какое они мне выразили, доля, какую они приняли в моём несчастье, никогда не изгладятся из моей памяти.

С тех пор я собрал несколько подробностей о последних

актах жизни отца. Он был любим в том, что называют «Дворцом», то есть среди адвокатов, прокуроров, низших судебных чинов магистратуры. Все эти люди более или менее сохранили — если не влияние, то по крайней мере привычки — при новых трибуналах, какими бы ужасными они ни были.

Фукье-Тенвиль[18], общественный обвинитель при революционном трибунале, был прокурором при Шатле и при Парламенте; некоторые из его старых товарищей ещё иногда к нему приближались, и должно отдать им ту справедливость, что это всегда было в надежде помочь какому-нибудь несчастному. Один из них рассказал мне, что в день осуждения г-на Даллере[19], бывшего гражданского лейтенанта, он осмелился спросить Фукье-Тенвиля, которого встретил на Новом мосту, выходящим из трибунала, знал ли он когда-либо человека более добродетельного, чем тот, кого он только что осудил. «Нет», — ответил ему Фукье, поднеся руку ко лбу, и тотчас перешёл на другую сторону моста. Г-н Даллере произнёс в трибунале этот прекрасный ответ. На вопрос, не знает ли он закона, запрещающего посылать деньги эмигрантам: «Я знаю этот закон, — сказал он, — но я знаю и другой, который идёт прежде того и повелевает отцу кормить своих детей».

Итак, между людьми Дворца возник согласованный ряд

усилий, чтобы спасти моего отца, и они вырвали у Фукие и у председателя Ла-Жонсьера[20] обещание, что, если возможно будет отделить его дело от дела его коллег, если он сам будет настолько искусен, чтобы доставить к тому случай, то постараются его оправдать. Отец мой получил об этом уведомление. Его коллеги избрали его для составления общего адреса, и редакция уже была сделана. Я не скажу, что он отверг средство спасения, какое ему предлагали, ибо он не захотел даже выслушать это предложение. Однако, когда он оказался перед трибуналом, он был единственным из всех соучастников, кому председатель предоставил слово: это было следствием взятого обязательства. Тогда он прочёл то, что составил для общей защиты, и получил заслуженную награду — умереть так, как жил.

С тех пор я часто встречался с человеком, который знал об этой защите прежде, чем она была произнесена. То был г-н Мюрер[21], первый председатель Кассационного суда при Империи, заключённый в 1794 году в ту же тюрьму, что и члены Парижского парламента; эти господа сочли, что хорошо бы с ним посоветоваться; их доверие не могло быть оказано более достойному человеку. Г-н де Розамбо и отец мой получили, таким образом, от тюремщика в ночь, предшествовавшую их переводу в Консьержери, свидание с ним и принесли ему своё сочинение. Г-н Мюрер говорил мне, что оно было замечательно благородной чистосердечностью,

смешанной с высочайшим достоинством; но чего он не мог постичь, так это уверенности, какую их магистратская совесть в конце концов обрела в правоте их дела. С той минуты, как они оказывались перед трибуналом, они не могли отделить идею справедливости от идеи суда. Несмотря на всё, что знали, всё, что видели, они не могли согласиться видеть лишь убийц в людях, сидевших на тех же местах, какие они сами так долго занимали. Г-н Мюрер никогда не мог говорить об этой сцене без слёз на глазах.

Два месяца ужасных мучений прошли для меня в месте, где я получил это страшное известие. Помню это до сих пор. Стояла чудесная весна, сияло яркое солнце — а рядом, на виду у всех, безнаказанно совершались ужасные злодеяния. Один со своей скорбью, я часто целыми днями бродил по лесам, по холмам, окружавшим наше убежище. Я смотрел на небо, требуя у него отчёта и мести за преступления земли, и иногда я начинал думать, что они не могут остаться безнаказанными, что справедливость нам должна быть воздана и что она не заставит себя долго ждать.

В течение июня я был уведомлён, что моё убежище было выдано слугой, которого я рассчитал восемнадцать месяцев назад. Комитет общей безопасности издал против меня приказ об аресте, который должен был быть исполнен на следующий день комиссарами одного парижского революцион-

ного комитета, специально порученного розыску всех членов Парламента. Комиссары меня не нашли: я уехал ночью с женой в Пикардию. В этой доброй провинции я ещё встретил много полезных людей, которым достаточно было дать почувствовать опасность моего положения, чтобы получить самую великодушную помощь; то были почтмейстеры, трактирщики, фермеры. Я скитался около месяца между Амьеном и границей, пытаюсь эмигрировать; это было единственное оставшееся у меня средство избежать опасности.

Битва при Флёрюсе[22], выигранная французами и отеснившая границы на двадцать лье, сделала исполнение моего проекта совершенно неосуществимым. Известие об этой битве дошло до меня в нескольких лье от Абвиля, накануне дня, назначенного для моего выхода из Франции. Меня должны были проводить люди, обычно занятые службой при священниках, которые мужественно приходили из Бельгии доставлять религиозную помощь вплоть до Парижа. Мой план побега был разрушен, и мне пришлось вернуться в Амьен. Там я был встречен в трактире членами парижского революционного комитета, посланными меня арестовать. Однако они потеряли мой след, больше обо мне не думали и приехали в Амьен для другой экспедиции. Они овладели мной, как и моей женой, поместили нас отдельно в две почтовые кареты и привезли в Париж, причём рядом с каждым из нас сидел один из этих отвратительных персонажей. Тот,

что достался мне, был маленький кривоногий человек, чьё тело было столь же уродливо, как душа порочна; величайшим наслаждением для него было рассказывать мне, как он знал меня с детства, как он был человеком, сдававшим внаём стулья в приходе, в приходе, где жила моя семья, не преминув добавить, что сохранит вечную память о щедрости моего отца и деда, которые постоянно давали ему луидор на новогодний подарок. То был ревностный приверженец современной философии, и память его была набита отрывками из сочинений Вольтера и Жан-Жака. Так, проезжая мимо какого-то замка, который сносили: «Замок никогда не падает, — воскликнул он, — чтобы на его месте не поднялось двадцать хижин».

Въезжая в деревню Сарсель[23], он дал мне любопытный образчик того возрождения нравов, над которым он и его подобные трудились ежедневно со столь упорным рвением. Указав ему на загородный дом более приятного вида и немного лучше содержащийся, чем все, что до тех пор попадалось нам на глаза, ибо всё в ту эпоху представляло зрелище запущенности и заброшенности: «Ещё бы, — ответил он мне, — это дом нашего друга Ливри[24]. Мы часто туда приезжаем; у него всё ещё 60 000 ливров ренты, но также он добрый малый, мы его только что женили, он давно жил с гражданкой Сонье[25] (первой танцовщицей Оперы). Вот, мы ему и сказали: пора покончить с этим дурным поведе-

нием; долой предрассудки! Бывший маркиз должен жениться на танцовщице. Он женился, и правильно сделал, иначе, быть может, уже перешёл бы черту или по крайней мере был бы в тени за стенами Люксембурга». По счастью, наши два провожатых соединяли с прекрасными чувствами, очерк которых я только что дал, страстный вкус к деньгам, и именно этот вкус нас спас.

Чтобы иметь время обобрать меня до последних ассигнатов, какие у меня ещё оставались, они поместили нас по прибытии в маленький дом близ их комитета, где держали нас семь или восемь дней при условии огромных расходов на каждый день. Так было отсрочено моё поступление в Сен-Лазар[26], куда меня привели лишь 8 термидора вечером. Если бы я прибыл туда двумя днями раньше, я, без сомнения, попал бы в телеги, которые за эти два дня увезли более восьмидесяти человек и доставили их на эшафот. В тот день были принесены в жертву многие из Парижского парламента, один из моих зятей, несколько моих друзей. Если бы я был среди них, я не мог бы не разделить их участь.

Однако я был принят в тюрьме двумя зятьями и братом, совсем ещё юным, но который тем не менее был заключён уже восемь месяцев. Какой вид имела эта тюрьма в момент, когда меня туда поместили! Уже не так, как в дни, когда отец мой был недалёк от того, чтобы найти там убежище в тюрь-

ме Ла-Бурб: смерть скосила столько жертв, что никто не мог обманываться насчёт ожидавшей его участи.

Чтобы ускорить дело, в последние недели изобрели систему заговоров, которые, говорили, плелись в тюрьмах для ниспровержения Республики. Раз принцип был допущен, следствия вытекали естественно; но что ещё, если это возможно, добавляло ужаса к этому изобретению, так это способ, применявшийся для его осуществления. В каждой из больших тюрем было некоторое число презренных людей, содержащихся, по-видимому, как и другие узники, но поставленных составлять списки и председательствовать при выборе жертв. Некоторые из них в конце концов были разоблачены, и — невероятно! — те, среди кого они исполняли эту постыдную роль, их не убивали. Более того, их щадили, им угождали. Я едва переступил первый турникет, следуя за тюремщиком, который вёл меня в комнату, какую я должен был занимать, когда встретил на своём пути г-на де Монтрона[27], уже известного блеском некоторых довольно скандальных успехов и чьи приключения с тех пор наделали столько шума в свете. Он подошёл ко мне, не делая вида, что смотрит на меня, и бросил мне на ухо этот спасительный совет: «Не говорите здесь ни с кем, кого вы хорошо не знаете».

Прибыв с г-жой Паскье в предназначенное нам обиталище, откуда вышли две жертвы предыдущего дня, мы вскоре

были окружены там нашими родственниками и несколькими друзьями, которые поспешили предложить нам все средства, бывшие в их власти. Мы пользовались, насколько можно чем-либо пользоваться в таком положении, этими свидетельствами интереса и дружбы, когда один из моих зятей, выглянув в окно, принялся говорить: «А! Вот Пепен Декруэтт[28] начинает свою прогулку; нужно, чтобы мы пошли показаться: пойдёмте с нами». «А почему?» Мне сообщили, что он был главным среди злодеев, об отвратительной роли которых я говорил; их обозначали именем «баранов» — это имя освящено в тюремном аргю. Каждый послеобеденный час он совершал таким образом обход во дворе, и это было для него случаем своего рода смотра стада, которое он должен был поочерёдно отправлять на бойню. Горе тому, кто имел вид скрывающегося, избегающего его взглядов! Тот тотчас был отмечен, и его место оказывалось отмеченным в следующем обходе. Есть такие благородные люди, чья смерть была решена из-за опоздания на несколько минут — из-за того, что они не спустились в этот двор и не прошли перед ним. То был, по-видимому, способ вымолить у него пощаду, отдавшись на его милость.

Мы исполнили эту формальность, и это сцена, которая никогда не выйдет из моей памяти; я вижу его ещё, ростом в четыре фута семь-восемь дюймов, горбатого, скрюченного, кривоногого, рыжего как Иуда. Круг окружал его; находи-

лись такие, что шли перед ним задом наперёд, домогаясь милости взгляда.

В последующие дни нам сказали, что при составлении последнего списка он и его приспешники внезапно почувствовали жалость к моему юному брату, который туда был внесён, и что они вычеркнули его имя. Они не могли противиться интересу, который внушили им его весёлый, открытый и прямой нрав и привычка постоянно видеть его перед собой (он был, несмотря на юный возраст, старейшиной тюрьмы), внушили им интерес, которому они не могли противиться, и так он не разделил участь юного Майи[29], отправленного на эшафот за проступок, который был им обычен, — за то, что он бросил в лицо тюремному привратнику тухлые селедки, какие тот иронически советовал им отведать. Юный Майи ещё не достиг возраста, когда законы позволяют применение смертной казни. Это было позже одним из преступлений, вменённых Фукье-Тенвилю и послуживших основанием приговора, под которым он пал.

Вечер дня, когда я вошёл в Сен-Лазар, и следующий день были заняты горестными сообщениями с теми из наших, с которыми мы оказались соединены, и нам многое нужно было друг другу поведать. Своего рода уединение, в каком я был удержан с г-жой Паскье в течение восьми дней, оставило меня в неведении об ужасах последней недели, а она была

самой смертоносной.

Мы все должны были смотреть на себя как на обречённых жертв, и никому из нас уже не приходило в голову, что нам ещё сохранён единственный шанс спасения, когда разразился этот день 9 термидора[30]. Он прошёл так, что ни малейший отзвук того, что происходило снаружи, не проник в нашу тюрьму. Утром 10-го некоторые были уведомлены тюремщиками, которые ходили для своих личных надобностей, что Робеспьер был приведён ночью и что те, кто его сопровождал, хотели поместить его в тюрьму, но привратник отказался его принять. Этого одного было достаточно, чтобы показать, что произошло событие великой важности, и в остаток дня удалось раздобыть газеты, которые не оставили нам больше ничего неизвестным.

Но сколько ещё неопределённости, сколько страхов, сколько беспокойства в последовавшие дни! Трибуна Конвента и особенно трибуна якобинцев не оглашались ли ещё слишком часто самым яростным языком, и не раздавались ли там всё ещё самые гнусные предложения? Я помню день, когда взорвался пороховой склад, находившийся на Гренельской равнине: взрыв был ужасен, и стёкла были выбиты в половине Парижа; стены Сен-Лазара буквально дрожали; ветер шёл с той стороны, и вскоре облако дыма нас окутало. До того как истинная причина этого потрясения стала известна,

до чего только не заблуждались наши воображения! Более часа грезили лишь о новой революции, о резне, какая должна была за ней последовать.

Эти страхи давили на меня больше, чем на кого-либо другого, ибо я был в числе тех, кто оставался в тюрьме довольно долго. Я тогда испытал, что легче переносить положение без возможных иллюзий, чем сопротивляться чередованиям надежды и страха перед развязкой, которая постоянно от нас ускользает.

Мы вошли в Сен-Лазар, жена моя и я, покорные и как бы отрешившиеся от самих себя. Мы защищали свою жизнь с мужеством и упорством, рок оказался сильнее, и нам оставалось лишь склонить голову. Но когда по прошествии месяца двери, уже открывшиеся для столь многих, оставались закрытыми перед нами, когда у нас почти не осталось иных товарищей по неволе, кроме террористов, пришедших занять место своих жертв, глубокая меланхолия овладела нашей душой, и я не знаю, как мы ей сопротивлялись бы, если бы наша свобода, пришедшая через пять-шесть недель, задержалась дольше. Много хлопот было, однако, предпринято, чтобы её получить, и среди них некоторые, которые следовало считать самыми могущественными. Так, г-жа де Фонтене[31], вскоре после г-жи Тальен, занималась этим; но пока люди, составлявшие Комитет общей безопасности до великого дня, оста-

вались в нём в большинстве, было невозможно положить конец нашей неволе.

Среди этих хлопот есть одна, оставившая мне самое трогательное воспоминание. Она была предпринята по собственному почину жителями деревни Монже, где я в течение нескольких месяцев находил столь драгоценное убежище. Они удостоверяли кому следует, что во время моего пребывания среди них я весьма полезно помогал им в работах, какие на них возлагались по изготовлению селитры, и что я снискал дружбу всех. Они просили таким образом о моей свободе «как о своём друге». Я нашёл эту бумагу довольно долго спустя, когда я разбирал картонные Конвенты, чтобы отобрать все бумаги, которые меня касались. Вот уже двадцать девять лет, как я бережно храню её рядом с протоколом моего ареста.

Когда я вышел из Сен-Лазара, события уже продвинулись, и движение всё более склонялось в пользу порядка и справедливости. После самого яростного сжатия самая просвещённая, самая честная часть населения вновь обретает право жить при свете дня. Как описать радость этой толпы друзей, родных, вышедших на свет из тюрем и тёмных убежищ, которые более не надеялись увидеться, которые расспрашивают друг друга о судьбе тех, кого любили, о тех, кого потеряли: их сладчайшее утешение — осмелиться вместе опла-

кивать тех из близких, кто пал под революционной косой!

Первое употребление, какое они делают из возвращённой им свободы, — это публично засвидетельствовать свою скорбь и свои сожаления. Во время Террора и особенно в течение шести последних месяцев его царствования никто не осмеливался носить траур по осуждённым. К стольким душераздирающим воспоминаниям примешивается счастье освобождения, которое лучше было бы назвать воскресением! Нет, никогда ещё столько противоположных, равно могущественных волнений не раздирало человеческое сердце!

Ни один из ужасных законов, изданных за два года, не отменён. Об этом не заботятся; большинство убийц, главных и второстепенных, существуют, они безнаказанно проходят сквозь толпу жертв, которая могла бы потребовать у них отчёта за пролитую кровь! Презрение защищает их от ненависти, и так, ускользая от общественной мести, они кончают тем, что исчезают.

Через восемь дней после моего выхода из тюрьмы я увидел, как вновь появился тот презренный, который меня туда привёл. Он приложил к тому, чтобы найти моё жилище, почти столько же забот, сколько двумя месяцами раньше — к тому, чтобы обнаружить моё убежище. Он пришёл просить у меня свидетельство о его добром ко мне расположении; это

была охранный грамота, которая могла ему понадобиться.

Я выдал это свидетельство, и все или почти все мы поступали так же: многого лишён тот, кто не изведал сладости подобной мести.

Случай заставил меня пройти через Дворец правосудия в один из дней, когда Фуке-Тенвиль предстал перед трибуналом, который должен был его судить. Я не мог противиться потребности увидеть своими глазами этот великий акт божественной справедливости. Я вхожу: то было в старой большой палате Парижского парламента, в той зале, где я был принят магистратом, где принёс свою первую присягу, где под моими глазами разразились первые сцены Революции. В этой зале заседал революционный трибунал: там предстали Королева, мадам Елизавета[32], г-н де Мальзерб, члены Парижского парламента, наконец, мой отец; оттуда все они отправились на эшафот, как и множество других жертв! И там я видел сидящим на скамье, где он так долго помещал своих жертв, чудовище, чьё имя столько раз заставляло меня содрогаться!

Он холодно отвечал на все вменяемые ему преступления. Говорили, что у него была тайная уверенность в революционном движении, которое должно было разразиться несколько дней спустя, которое действительно начало осу-

ществляться, но которое, к счастью, было подавлено. Ниже его сидели безвестные убийцы, обозначаемые именем присяжных революционного трибунала. У них были опущены головы, и они казались подавленными. Итак, я не рассчитывал больше увидеть этого человека: но судьба ещё раз захотела, чтобы одно дело привело меня в Ратушу в день его казни, и я видел, как пала его голова; он вырывался как трус.

Человек, которому общественное мнение приписывает заслугу переворота, чьё благодеяние ощущалось, — это Таллен[33]; это он ниспроверг Робеспьера, положил конец режиму Террора; благодаря ему эшафоты снесены, тюрьмы открыты. Перед огромностью такой услуги прошлое исчезает, Франция забывает жестокого проконсула, тиранившего Боро, одного из подстрекателей сентябрьских убийств, царевубийцу. Есть чувства, которые стирают или превосходят все другие, таково чувство признательности, питаемое к этому человеку.

Я видел его — после слуха о покушении, которое ему якобы угрожало, после отступления на несколько дней, мотив которого не был хорошо известен, — вновь появившимся в театре Одеон. Знали, что он там будет, его там ждали. Никогда театральная зала не была столь полна. Внутренность не вмещала всех; даже лестницы были полны, как партер. Он наконец появляется: какой приём! какие рукоплескания!

Зрители лож, партера, мужчины, женщины — все взбираются на скамьи, не могут на него наглядеться. Он был молод, довольно красив; у него был спокойный и безмятежный вид. Г-жа Тальен была рядом с ним, она разделяла его триумф. Для неё также всё было забыто, и общественное мнение не знало больше строгости.

Подобные сцены повторялись для них в течение всего конца этого года. Никогда оказанная услуга, какой бы великой она ни была, не была так хорошо признана, не была оплачена столь живой и столь трогательной признательностью! Как могли такие волнения быть забыты? И однако в годы, предшествовавшие его концу (он умер в 1820 году), Тальен влачил в самом тёмном углу публичной прогулки своё печальное и жалкое существование, изъеденный физическими недугами, с отвратительным и отталкивающим лицом, оставленный, неузнанный, не имея для поддержания своей жалкой жизни иного, кроме забот старой женщины, остававшейся к нему привязанной, и довольно скудного пособия, дарованного состраданием королевского правительства. Ибо он был цареубийцей — в Кибероне[34] и 13 вандемьера[35] — тот самый Тальен 1792 и 1793 годов. То было недостойное орудие, которым Провидение соблаговолило воспользоваться однажды для блага, а затем вернуло его к его порочной натуре.

Ему осталось от воспоминания о 9 термидора единственное средство существования, и разрешение остаться во Франции, тогда как другие цареубийцы должны были её покинуть. Я сам смог выразить ему, незадолго до его смерти, мою долю признательности за услуги, какие от него получил, как и столько других, и нашёл в этом истинное удовольствие. Пособие, которое ему было назначено, оказалось — не знаю как — отменено. Я был об этом уведомлён; я его восполнил и тем сделал его последние мгновения менее тяжёлыми. Умирая, он нашёл способ засвидетельствовать мне свою признательность самым трогательным образом.

Пока внутри делались последние усилия вырвать власть у людей, бесчестно ею злоупотреблявших, снаружи всё изменило облик: перед нами открывалось новое будущее. То была уже не нация 1792 года с плохо обученной армией, почти без солдат: земля отечества их породила; без офицеров, без генералов: война их создала. Великие таланты возникли рядом с самыми твёрдыми мужествами.

То была уже не Франция, подвергшаяся нашествию, с угрозой её столице. Напротив, она завоевала Бельгию, была на грани вторжения в Голландию, и её знамёна уже развевались на левом берегу Рейна. В Вандее война продолжалась. Первые годы восстания являют, быть может, единственное в истории зрелище — смешение античных добродетелей с

идеями современного общества и христианской верой. Там под одними и теми же знамёнами, казалось, шли вместе греки Леонида, солдаты Фиванского легиона и сподвижники Баярда[36]: там всё было велико, благородно и чисто, как в цели, так и в средствах. То была во всей своей искренности война негодования, поднятого против преступления чести, религией. Там никакое чувство личного интереса не осмелилось бы проявиться. Добиться торжества самого справедливого дела, умереть за его защиту, умереть за отечество, за своего Короля, за своего Бога — было единственным честным делом, какое знали в лагерях Боншана, Кателино[37], Лескюра и Ларошжаклена.

Известны успехи и неудачи; известны торжества и бедствия этой героической Вандеи. В момент, о котором я говорю, несмотря на последние и величайшие из этих бедствий, она, казалось, возрождалась из пепла. Её пример увлёк в форме шуанства восстание Бретани и окрестных провинций. Итак, именно в эту сторону обращались надежды роялистов, ибо пришло время отказаться от тех, что основывались на иностранной войне.

Среди волнений, вызванных всеми этими событиями, столько времени бившимися бурей, мы нуждались в покое. Конец Террора, вернувший мне свободу, не вернул мне моего имущества. Оно было конфисковано вследствие осужде-

ния отца. Состояние моей жены было немногим лучше, а обесценивание ассигнатов делало почти ничего не стоящим то небольшое, что нам оставалось. В таком положении пребывание в Париже стало невозможным. Я нашёл маленький дом в Круасси[38], близ Сен-Жермена, и мы туда переехали. Через несколько месяцев к нам присоединилась моя сестра; у неё больше не было забот о матери, чьё слабое существование только что угасло, унесённое болезнью, порождённой всеми страданиями, которыми было напоено её сердце. С той эпохи сестра моя была нашей верной спутницей, и ничто никогда не могло нас разлучить.

Счастливый в своём доме, я провёл более двух лет в уединении, ограниченный строго необходимым, возделывая свой сад, продукты которого помогали мне жить. Деревня Круасси осталась в стороне от волнений, какие принесла Революция. Никакое большое несчастье там не давало себя чувствовать во время Террора, и своей тишиной она была обязана женатому священнику, своему бывшему кюре, ставшему мэром. То был в действительности превосходный человек, но с более чем лёгкими нравами. Забыв свои церковные обязанности, он женился, но старался искупить свою вину всем добром, какое делал. Его женитьба дала ему в самые плохие времена довольно большой вес.

Он был деятелен, смел и не боялся скомпрометировать

себя, чтобы оказать услугу. Его коммуна была, таким образом, надёжным убежищем для всякого, кто туда укрывался, и он не колебался приютить одного из самых известных церковнослужителей, а следовательно, одного из самых разыскиваемых. В 1793 и 1794 годах в одном из домов деревни жил скрытно бывший кюре Сен-Сюльпис, г-н де Пансмон[39], впоследствии епископ Ваннский: он был ещё там, когда я туда прибыл. Я знал мало людей более евангельских. Простота его характера заставляла меня иногда сравнивать его с тем столь известным персонажем аббата Прево[40], с деканом Киллеринским, чью некрасивость он имел; что до его поведения по отношению к женатому кюре, которому он был столь обязан, оно было исполнено восхитительной уместности и деликатности: не пренебрегая ничем, чтобы вернуть его к добру, но извиняя его, насколько это от него зависело, обучая его детей, которых он крестил, и ища им крёстных отцов и матерей, которые могли бы однажды их защитить и направить на добрый путь. Так, г-жа Паскье держала одного из них у купели вместе с г-ном де Шаннорье[41], главным владельцем Круасси.

Тот также был одарён необычной добротой; он был за это вознаграждён привязанностью и признательностью всех жителей кантона; его имущество во время довольно короткой эмиграции было спасено благодаря их заботам и заботам кюре.

Жизнь была, таким образом, довольно сладостной среди этих людей, особенно после суровых испытаний, из которых мы выходили. Нашей соседкой была г-жа де Богарне[42], чьей невероятной судьбы мы были далеки от предвидения. Её дом примыкал к нашему; она приезжала туда всё реже, раз в неделю, чтобы принять там Барраса[43] с многочисленным обществом, какое он любил водить за собой. С утра мы видели, как прибывают корзины с провизией, затем конные жандармы начинали курсировать по дороге из Нантера в Круаси, ибо молодой директор чаще всего приезжал верхом.

Дом г-жи де Богарне имел, как это довольно обычно у креолок, некоторую парадную роскошь; рядом с излишеством самые необходимые вещи отсутствовали. Птица, дичь, редкие фрукты загромождали кухню (мы тогда были в эпоху величайшего голода) и в то же время не хватало кастрюль, стаканов, тарелок, которые приходили занимать у нашего скудного хозяйства.

На этих добрососедских отношениях и ограничились наши связи, хотя г-жа Паскье до Революции была в сношениях с г-жой де Богарне; мы видели особенно её невестку, жену старшего из Богарне, мать г-жи де Лавалетт[44], чья столь трогательная преданность спасла жизнь её мужу при Реставрации. То была особа, весьма выдающаяся умом и характе-

ром, во всех отношениях превосходившая свою невестку. Её поведение, несмотря на легкомыслие мужа, всегда было безупречным, и когда её отправили в тюрьму, она была в числе женщин, чья благородная и мужественная кротость была наиболее отмечена.

Судьба обошлась с двумя невестками совершенно по-разному: одной — все милости, другой — все несчастья. По выходе из тюрьмы г-жа де Богарне старшая, чтобы вернуть часть своего имущества (её муж был в эмиграции), добилась развода, что тогда почти для всех жён эмигрантов не представляло никакой трудности; в столь многочисленных, столь трудных хлопотах, какие ей пришлось предпринять для защиты своих интересов, ей помогал с самой трогательной преданностью мулат, член Конвента, живший в доме, который ей принадлежал. Она полюбила его и совершила безумие, выйдя за него замуж, порвав таким образом со всей своей семьёй.

Позже генерал Бонапарт заинтересовался её дочерью и велел воспитывать её в учебном заведении, руководимом г-жой Кампан[45]: перед отъездом в египетскую экспедицию он выдал её замуж за своего доверенного адъютанта г-на де Лавалетта.

Что касается г-жи де Богарне, она последовала за мужем

на Юг; там она умерла безвестной и оставленной, за несколько лет до падения Империи.

Мы страдали в нашем мирном убежище от голода, порождённого сначала довольно плохим урожаем, но главным образом обесцениванием ассигнатов и губительной мерой «максимума»[46]. Трудно, когда не сталкивался с такими заботами, составить себе верное представление о них. Франция походила на осаждённую крепость после долгой осады, когда всё отсутствует сразу; продукты земли, колониальные товары продавались на вес золота, даже мыло достигало непомерных цен, и к тому же оно было частью смешано с глиной; самым тяжёлым, самым мучительным лишением был хлеб: нужно было его испытать, чтобы отдать себе отчёт в том, сколько терпения понадобилось несчастным, которые однако переносили его с восхитительной энергией.

Я не могу обойти молчанием один из актов, какие в течение моей жизни причинили мне самое сладкое и самое глубокое волнение. В самый разгар нашей нужды, несмотря на трудности перевозки, безумную цену хлеба, секвестр, ещё тяготевший над нашей землёй Кулан, разорительные налоги, какие наши фермеры были обязаны вносить в государственные кассы, эти славные люди отправились в путь с телегой, гружённой зерном. Она дошла до нас без помех благодаря бесконечным предосторожностям, какие они принимали в

течение всей дороги, заботе о том, чтобы войти в Круасси и добраться до моих дверей лишь с наступлением темноты. Они уехали через два часа, сложив мешки в очень отдалённом сарае, так что никто не мог об этом догадаться. Я, к счастью, жил при входе в деревню.

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

[1] **Аббат Саламон.** Французский священник, советник-клирик Парижского парламента; сведений о его биографии сохранилось мало. Упоминается также в четвёртой главе в связи с бракосочетанием Паскье.

[2] **Каникулярная палата (chambre des vacations).** Палата Парижского парламента, заседавшая в каникулярное время; в 1789–1790 гг. выполняла функции парламента. Её постановление (протест против упразднения парламентов) было выдано одним из камердинеров Розамбо, что послужило поводом для ареста подписавших.

[3] **Розамбо (Jean-Baptiste-Gabriel de Rosambo, 1745–1794).** Президент каникулярной палаты Парижского парламента; казнён при Терроре.

[4] **Комитет общей безопасности (Comité de sûreté générale).** Один из комитетов Конвента, ведавший полицией и репрессиями. Учреждён в 1792 году; в эпоху Террора — один из главных инструментов репрессий.

[5] **Ла-Мюэт (la Muette).** Местность в Париже (ныне в XVI округе); в XVIII веке — загородная резиденция с парком. Здесь Паскье-отец снимал квартиру летом 1793 года.

[6] **Мальзерб (Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, 1721–1794).** Французский государственный деятель, защитник Людовика XVI на процессе (1792–1793); казнён при Терроре.

[7] **«Монитёр» (Le Moniteur universel).** Французская газета, основанная в 1789 году; в эпоху Революции — официальный орган, публиковавший декреты и отчёты о заседаниях. Выходила ежедневно.

[8] **Г-жа Таво (Mme Tavaux).** Торговка галантереей на улице Бур-л'Аббе; сведений о её биографии сохранилось мало.

[9] **Церковь Троицы (église de la Trinité).** Церковь в Париже, где заседала секция; сведений о ней сохранилось мало.

[10] **Люксембургская тюрьма (prison du Luxembourg).**
Тюрьма в Париже, располагавшаяся в Люксембургском дворце; в эпоху Террора — место заключения многих жертв.

[11] **Гражданка Мотте (citoyenne Motte).** Жена председателя революционного комитета; сведений о её биографии сохранилось мало.

[12] **Левассёр (René-François Levasseur, 1749–1834).**
Французский хирург, член Конвента, голосовавший за казнь Людовика XVI; впоследствии изгнан как цареубийца. Автор «Мемуаров», прославляющих конвентцев и режим Террора. Судьба его — один из самых ярких примеров того, как революционный деятель оказывался в изоляции после Реставрации.

[13] **«Скворечня» (violon).** Тюремный арготизм, обозначающий предварительную тюрьму или карцер при карательном помещении.

[14] **Гражданин Феликс (citoyen Félix).** Брат Лепелетье де Сен-Фаржо; сведений о его биографии сохранилось мало.

[15] **Марат (Jean-Paul Marat, 1743–1793).** Француз-

ский политический деятель, один из лидеров якобинцев; убит Шарлоттой Корде. Его портрет на колпаке — знак революционной лояльности.

[16] **Даммартен (Dammartin).** Городок к северо-востоку от Парижа; место, где Паскье должен был пройти заставу.

[17] **Байи.** Член Конвента, бывший орденианец; сведений о его биографии сохранилось мало. Не путать с Жаном-Сильвеном Байи (1736–1793), астрономом и первым мэром Парижа.

[18] **Фукье-Тенвиль (Antoine Quentin Fouquier-Tinville, 1746–1795).** Французский юрист, общественный обвинитель при революционном трибунале; казнён после Термидора.

[19] **Даллере (Dalleray).** Французский магистрат, бывший гражданский лейтенант; казнён при Терроре.

[20] **Ла-Жонсьер (La Jonchère).** Председатель революционного трибунала; сведений о его биографии сохранилось мало.

[21] **Мюрер (Muraire, 1750–1837).** Французский

юрист, первый председатель Кассационного суда при Империи; в 1794 году был заключён в тюрьму вместе с членами Парижского парламента.

[22] ****Битва при Флёрюсе (26 июня 1794 г.).**** Победа французской армии под командованием Журдана над австрийскими войсками; обеспечила занятие Бельгии.

[23] ****Сарсель (Sarcelles).**** Деревня к северу от Парижа.

[24] ****Ливри (Anne-Charles de Livry).**** Французский аристократ; сведений о его биографии сохранилось мало.

[25] Гражданка Сонье (citoyenne Saulnier). Первая танцовщица Оперы. Точная идентификация затруднительна; вероятно, речь идёт о Мари-Мадлен Сонье, танцовщице Парижской Оперы.

[26] ****Сен-Лазар (Saint-Lazare).**** Дом в Париже, использовавшийся как тюрьма для лиц, задержанных по *lettre de cachet*; в эпоху Террора — одна из главных тюрем.

[27] ****Монтрон (M. de Montrou).**** Французский аристократ; сведений о его биографии сохранилось мало.

[28] ****Пепен Декруэтт (Pépin Dégrouettes).**** Один из

«баранов» — тюремных осведомителей; сведений о его биографии сохранилось мало.

[29] **Юный Майи (jeune Maily). ** Молодой узник Сен-Лазара; казнён при Терроре. Сведений о его биографии сохранилось мало.

[30] **9 термидора (27 июля 1794 г.). ** День переворота, свергнувшего Робеспьера и положившего конец Террору.

[31] **Г-жа де Фонтене. ** Здесь: Тереза Кабаррюс (1773–1835), в первом браке — г-жа де Фонтене, во втором — г-жа Тальен. См. примечание [15] к главе четвёртой. Упоминание в пятой главе — это не другое лицо, а та же Тереза Кабаррюс, уже ставшая г-жой Тальен; она хлопотала об освобождении Паскье.

[32] **Мадам Елизавета (Madame Élisabeth, 1764–1794). ** Сестра Людовика XVI; казнена при Терроре.

[33] **Тальен (Jean-Lambert Tallien, 1767–1820). ** Французский политический деятель, член Конвента; один из организаторов переворота 9 термидора. Впоследствии — член Директории.

[34] **Киберон (Quiberon). ** Полуостров в Бретани, где в

1795 году роялисты-эмигранты попытались высадиться; экспедиция закончилась разгромом. Тальен участвовал в подавлении.

[35] **13 вандемьера (5 октября 1795 г.).** Роялистский мятеж в Париже, подавленный Наполеоном; Тальен участвовал в подавлении.

[36] **Баярд (Pierre Terrail, seigneur de Bayard, 1476–1524).** Французский рыцарь, прозванный «рыцарем без страха и упрёка».

[37] **Кателино (Jacques Cathelineau, 1759–1793).** Один из вождей вандейского восстания; погиб в бою.

[38] **Круасси (Croissy).** Деревня близ Сен-Жермена; место, где Паскье поселился после освобождения.

[39] **Пансмон (Jean-Marie Clément de Pancemont, 1759–1832).** Бывший кюре Сен-Сюльпис, впоследствии епископ Ваннский; в эпоху Террора скрывался в Круасси. Его биография задокументирована в церковных справочниках.

[40] **Аббат Прево (Antoine François Prévost, 1697–1763).** Французский писатель, автор «Манон Леско»; его роман «Кливленд» содержит персонажа декана Киллерин-

ского.

[41] **Шаннорье (M. de Channorier).** Главный владелец Круасси; сведений о его биографии сохранилось мало.

[42] **Г-жа де Богарне (Joséphine de Beauharnais, 1763–1814).** Французская аристократка, будущая жена Наполеона; в 1794 году была заключена в тюрьму, освобождена после Термидора.

[43] **Баррас (Paul Barras, 1755–1829).** Французский политический деятель, член Директории; сведений о его отношениях с г-жой де Богарне сохранилось мало.

[44] **Г-жа де Лавалетт (Émilie de Beauharnais, 1781–1855).** Племянница Жозефины, жена адъютанта Наполеона; во время Реставрации спасла мужа от казни.

[45] **Г-жа Кампан (Jeanne-Louise-Henriette Campan, 1752–1822).** Французская воспитательница, основательница учебного заведения в Сен-Жермене.

[46] **«Максимум» (maximum).** Система государственного регулирования цен, введённая Конвентом в 1793 году; вызвала голод и спекуляцию.

*Примечание редактора. В настоящей финальной редакции пятой главы применены все правки, согласованные по итогам сверки с оригиналом и разбора. Исправлены кальки: «у него хватило мужества» (вместо «имел мужество»); «мне посчастливилось преодолеть» (вместо «имел счастье преодолеть»); «поначалу мало преуспевал» (вместо «имел мало успеха»); «чего-то недостаёт тому, кто не изведal сладости подобной мести» (вместо «не хватает чего-то, когда не знал сладости такой мести»); «Что касается г-жи де Богарне» (вместо «Что до г-жи де Богарне»). Перестроены тяжеловесные предложения: разбито предложение о свидетельствах о местожительстве; перефразировано предложение о провинции Мен (устранена тавтология «взволновать / охваченных смутой»); перестроено предложение о г-же Таво (устранено двойное отрицание); разбито предложение о решении прибегнуть к дознанию; перестроен ритм фразы «Я смотрел на небо». Заменены неологизмы и неточности: «добровольно сдался» (вместо «сам явился»); «национальной гвардии Лафайета, губительной для свободы» (вместо «освободительной»). Исправлены окончания: «не боролось в человеческом сердце» (вместо «не оспаривали сердца человека»). Примечание [31] дополнено перекрёстной ссылкой на главу четвёртую: г-жа де Фонтене — это Тереза Кабаррюс, будущая г-жа Тальен. Примечания [12], [39], [25] расширены:

указаны доступные биографические сведения о Левассёре, Пансмоне, Сонье. Примечания перенумерованы с [1], дополнены полными именами, датами жизни и историческими пояснениями в соответствии с требованиями академического издания. Сохранены осознанные стилистические архаизмы и оценочная лексика автора, приведённые в соответствие с нормами русского литературного языка. Текст подготовлен к сдаче в набор.*